

Деревянные кони

Война кончилась, а отец не возвращался. И письма от него приходили редко. Бабушка, мама и я по многу раз на день заглядывали в почтовый ящик, но там было пусто.

Иногда я ходил встречать поезда. На перрон бесплатно не пускали, надо было покупать билеты — странно, за встречи и прощания брали деньги, — и я пробирался вдоль путей, мимо цистерн и товарных вагонов, устраивался где-нибудь в уголке вокзального перрона, чтобы не попадаться на глаза злым теткам в красных фуражках. Поезда приходили и уходили, у ворот, выходящих на вокзальную площадь, образовывались пробки: военные, возвращаясь домой, очень торопились, и я их понимал, улыбался, вглядываясь в их лица, искал отца, надеясь на удачу — мало ли чего не случается, а вдруг он обгонит свое письмо, в котором напишет о возвращении.

Но отца не было. Не так-то просто кончаются войны.

* * *

Однажды я шел с вокзала, стегая прутиком по лопухам, и думал об отце. Возле дома, во дворе, поросшем густой травой, было тихо, только скрипели тротуарные доски под моими ногами. Вначале я не обратил на тишину внимания: я шел задумавшись, опустив голову. Но потом тишина испугала меня. Тихо не должно быть, сейчас должно быть шумно, должен слышаться веселый лай. Я испугался за Тобика: если он порвал цепочку, его могут поймать собачники.

Я поднял голову и остановился. Тобик был жив и здоров, и цепочка его поблескивала, но он не обращал на меня никакого внимания, хотя не слышать моих шагов не мог. Это даже по ушам было видно, как он их ко мне, назад, оттягивал.

Перед Тобиком, прислонясь к косяку, стоял незнакомый парень. Одной ногой он упирался в собачью будку, а мой верный пес предательски шевелил кончиком хвоста, одобряя такую наглость, давая этому парню вести себя тут по-хозяйски.

Странные чувства смешались во мне: и обида на Тобика, и ревность к парню, на чью сторону Тобик так быстро перекинулся, и удивление — не удивляться новому парню было невозможно.

Прежде всего потому, что он был в сапогах. В сапогах с отогнутыми голенищами. Сапоги в городе, да еще в такую жару, носили только солдаты, а вот чтобы кто-нибудь так загибал голенища, я вообще не видел. Из сапог двумя широкими фонарями топорщились черные в полосочку штаны. Дальше шла рубашка — светло-зеленая, с короткими рукавами, а у ворота трепыхался красный пионерский галстук.

Как видите, кроме сапог, ничего особенного. И только из-за них, пусть даже с отогнутыми голенищами, я бы останавливаться как вкопанный не стал.

Дело было не в этом.

Дело было в том, что широкоплечий пионер, поставив нагло один сапог на собачью будку... курил...

Вообще-то в том, что пионер может курить, тоже нет ничего удивительного. Даже сейчас. А тогда тем более. Я много раз видел, как пионеры, забравшись за поленницу в нашем дворе, курили папиросы, предварительно сняв галстуки и сунув их в карман. Старшие ребята курили и в

школьной уборной, как-то по-хитрому пуская дым в собственные рукава, на случай, если войдет учитель. И ничего особенного в этом не было, потому что те пионеры курили таясь.

А этот курил открыто! Вот в чем дело!

Галстук развевался у него на груди, ветер полоскал его светлые волосы, и голубой дым рвался из ноздрей.

Стукнула дверь, и на крыльцо вышла моя мама. Она приветливо посмотрела на широкоплечего пионера и улыбнулась ему. Вот так штука! Я стоял ошарашенный.

Увидев маму, парень тоже улыбнулся и даже не зажал папироску в кулаке, а, наоборот, еще глубже затянулся и пустил изо рта дымный шлейф. Дверь снова стукнула, на улицу вышла бабушка, а за ней тетя Сима, которой бабушка сдавала комнату, и еще какая-то женщина, русая и круглолицая, с двумя корзинами в руке.

— Василей, — сказала строго незнакомая женщина, обращаясь к курящему пионеру, — дак я пошла. Смотри тут, не больно дымокурь-то. Тетю Симу слушай. И голос-то приглушай!

И тут я услышал голос странного парня.

— Аха! — сказал он хриплым мужицким басом.

Только это «аха» и произнес. Всего-навсего одно слово.

Во мне будто что-то сломалось. Только что я глядел на курящего пионера, приоткрыв рот, и удивлялся. Теперь я уже не удивлялся. Я его уважал. Ведь раз он курил при взрослых, не снимая галстука, значит, он имел такое право!

* * *

Курящий пионер остался во дворе, а я вслед за мамой вошел в дом.

Она кивнула на стол, чтоб я садился, подняла с полу большую кастрюлю и сняла крышку. Я охнул. Никогда я еще не видел сразу столько молока. Кастрюля была полнехонька. До краев.

— Откуда это? — удивился я.

Но мама только буркнула:

— Ешь, ешь!

Я навалился на молоко, уписывал его с хлебом, аж за ушами запищало.

Вошла бабушка, вздохнула у меня за спиной — я ее по одному вздоху в темноте могу за много шагов узнать.

— Ну вот! — сказала бабушка и снова вздохнула.

Мама укоризненно посмотрела на нее, будто осуждала за что-то. Опять, наверное, за комнату. Они часто про это говорили. Больше, правда, шепотом, потому что стенка была дощатая, не капитальная, и все было слышно, что там делается, у квартирантки тети Симы. И что у нас делается, ей тоже слышно было.

Мама все бабушку ругала, зачем мы ту комнату квартирантам сдаем. История эта довольно длинная, но я ее уже наизусть выучил. До войны никакой той комнаты не было. Была одна большая, и в ней мы все вчетвером жили — папа, мама, бабушка и я. А когда война началась и жить стало трудно, бабушка большую комнату надвое разгородила. Теперь война уже кончилась, но бабушка квартирантов все пускала, может, потому, что денег все еще не хватало, а может, по привычке.

Мама шептала бабушке, что вот скоро вернется из армии отец, — что же, нам тут так и тесниться? Бабушка кивала головой, соглашалась и говорила, будто тетю Симу она предупредила и, как только приедет отец, она сразу съедет и стенку отец разберет.

— Прямо в первый же день! — клялась бабушка, и мама уступала, потому что действительно жилось еще трудно.

— Ну вот! — повторила, опять вздыхая, бабушка и, словно оправдываясь, произнесла: — Хоть теперь с молоком будем.

— Мама! — воскликнула мама шепотом — это она к бабушке, сами понимаете, обращалась — и возмущенно на нее поглядела.

— А что «мама»! — прошептала ей в ответ бабушка. — Ведь не на небе живем!

Бабушка помолчала, словно в нерешительности, и добавила:

— Ну и потом помочь надо: видишь, какие обстоятельства — некуда пареньку деться!

— Значит, будет у нас жить? — спросил я. Курящий пионер в сапогах с отогнутыми голенищами не выходил у меня из головы.

Они не ответили. Мама внимательно разглядывала меня, будто хотела что-то сказать, да забыла.

— Коля, — сказала она наконец, — вот этот мальчик... Вася... — Мама мялась, не решалась что-то такое сказать. — Так ты это... как бы тебе объяснить... Так ты с ним не очень-то... понимаешь... дружи.

— А что? — спросил я, округляя глаза. — Почему?

— Ну, он... понимаешь, — стала опять заикаться мама, — он старше тебя и потом... ну... это... курит.

«Ага! — улыбнулся я, уминая хлеб с молоком. — Проговорилась! А сама улыбалась, на него глядя, как он дым из носу пускал, будто древний ихтиозавр».

— Ну, а ты скажи, чтоб не курил, — ответил я. — Пионер ведь!

— Неудобно... — вздохнула мама. — Он уже совсем взрослый. Ему курить его собственная мать разрешает, а чего же мы?

— Он ведь учиться-то не в школу приехал, — сказала из-за спины бабушка, — а на счетовода. Деньги будет получать, самостоятельный человек.

— Он в колхозе работает, — подхватила мама. — Пашет, сеет, хлеб убирает. Молодец какой, видишь?

Ну и взрослые! Их, как корабль в бурю, то в одну сторону качнет, то в другую. То не водись с ним, то — вот он какой хороший.

— Так чего же мне с ним не дружить? — спросил я.

Мама и бабушка молчали.

— Но он же курит! — сказала наконец бабушка. — Еще научит тебя!

Я поднял брови домиком, выражая удивление, и воскликнул возмущенно:

— Ну! За кого вы меня принимаете? — и встал из-за стола. — Это мы еще посмотрим, кто кого чему научит! — добавил я в запальчивости и шагнул к двери.

* * *

Пионер в сапожищах смолил, наверное, уже десятую папиросу. Тобик неотрывно следил за его движениями. «Уж не гипнотизер ли он вдобавок?» подумал я, начиная робеть. Это там, дома, перед мамой и бабушкой, я мог хорохориться. Тут же все было по-другому. Юный колхозник строго поглядывал на меня белесыми глазами и словно замораживал. Я понимал, что бояться его мне нечего, что ничего плохого он мне не сделает, раз будет жить у нас, и все-таки не мог побороть себя: мне почему-то казалось, что это я, а не он пришел на чужой двор.

Немного потоптавшись под пытливым взглядом тети Симиного племянника, я решил удалиться. Прогуляться, например, по улице. Но курящий пионер неожиданно изменил свою великолепную позу. Он снял сапог с Тобиковой будки, шагнул ко мне, так что от него табачным духом подуло, и сказал басом:

— Здорово! — И представился, протягивая руку: — Василий Иванович!

— Чапаев? — спросил я с тонкой иронией, стараясь восстановить свои права на этот двор.

Но Василий Иванович иронию отверг, белозубо улыбнувшись и потрянув светлыми волосами.

— Не-а! — ответил он. — Васильев.

Василий Иванович добродушно улыбался, решительно протягивал руку, желал мне всяческого добра, и сердце у меня зашло от волнения. Все-таки колхозник, не шутка — и пахать и сеять умеет. Я нерешительно протянул свою ладонь, сложенную лодочкой, и Василий Иванович пожал ее всю, все пять пальцев.

Рука у него оказалась большой и шершавой, будто из толстой сосновой коры. Даже, кажется, он мою руку слегка поцарапал — она почему-то тихонечко ныла.

— А я... этот... — сказал я, мучительно соображая, что бы такое придумать, что бы такое сказать убедительное и веское. Встать вровень с сапогами, у которых загнуты голенища, с папироской во рту и всей трудовой биографией тети Симиного племянника было не так-то легко.

Он засмеялся:

— Чо, как зовут, позабыл?

— Колька, — сказал я, краснея, и выпалил вдруг первое, что на ум пришло: — А ты боксоваться умеешь?

— Не-а! — сказал племянник, удивляясь.

— А я боксом занимаюсь!

— Но! — удивился Василий Иванович.

Он сразу клюнул на этот дурацкий крючок. Пахать-то он, конечно, пахал, и сеял, и курил тоже, а вот боксом уж определенно не занимался. Какой там в деревне бокс, его и в городе-то не найдешь. Боксеры с войны, наверное, еще не пришли.

— Ишь ты! — удивлялся племянник тети Симы, покачивая головой. — По мордам бьют! — И, бросив папирску, будто решившись на что-то, спросил: Научишь?

Я понял, что, кажется, перегнул, что про бокс — это уже слишком, а Василий Иванович развязал заскорюзлыми пальцами галстук, сунул его в карман, прижал к груди кулаки и добавил:

— Нам пригодится!

— Н-не, нет! — ответил я, слегка бледнея. — Не теперь! Завтра! Мне сейчас некогда.

— Лады! Завтра так завтра. — Он вынул из кармана большой кусок сахара, хрустнул зубами и кинул кусочек Тобику.

Тобик подхватил сахарок на лету, захрупал, чавкая, пуская тягучую слюнку, и преданно поглядел на племянника тети Симы.

* * *

Только к вечеру дошло до меня, что я наделал!

Сначала слова эти мои про бокс показались мне просто словами, мало ли кто и что сказал. Теперь же, к вечеру, когда мысли после дневной суеты стали раскладываться по полочкам, я понял, что нет, что все это не так просто, как кажется, что мы с этим курящим Василием Ивановичем теперь самые близкие соседи и никуда мне от него не деться.

«Вот дурак! — ругал я себя. — Только познакомился с человеком и сразу наврал ему с три короба. Ничего он не скажет, конечно, когда узнает, что я его обманул, дразниться не станет, не маленький, а все-таки...»

Улегшись на свой твердый диван, я долго скрипел пружинами, а утром проснулся со счастливой мыслью и, еле дождавшись срока, пошел в библиотеку. Должна же там быть книжка по боксу!

Библиотекарша подозрительно поглядела на меня, долго копалась в дальнем шкафу, потом вытащила тоненькую книжицу, всю серую от пыли: никто почему-то боксом не интересовался.

Я шел обратно, то и дело спотыкаясь, потому что читал на ходу.

Дома я разделся до трусов, встал перед зеркалом и начал повторять упражнения, которые были нарисованы на картинках: как кулаками нос прикрывать, как прыгать, когда наступаешь.

Половицы подо мной тряслись, зеркало дрожало, норовя кокнуться, бабушка махала на меня полотенцем, пытаюсь остановить.

— Ты чего! — шумела она. — Ишь распрыгался!

— Чш-ш! — шипел я на бабушку, боясь, что Васька через тонкую стенку поймет, чем я тут занимаюсь.

Но, в общем, я был доволен собой. Теперь-то мы уж с этим Васькой на равных. Надо только не спешить. Надо как следует подготовиться.

А сосед мой жил шумно.

У себя в деревне он, видно, не привык говорить нормальным человеческим голосом, да это ведь и понятно — как там, в полях и на пашнях, говорить спокойно, там кричать надо: «Эге-гей! Но-о! Пошла, ленивая! Растуды твой в кор-рень!»

Это выражение «растуды твой» Василий Иванович особенно как-то уважал и часто повторял за тонкой дощатой стенкой хриплым голосом. Мама и бабушка вжимали в плечи головы и молча переглядывались. Тетя Сима на Василия Ивановича за стенкой шикала, шептала ему, видно, чтобы он потише тут выражался, не на сеновале, но, даже приглушив голос, Васька хрипел громко и внятно.

Я посмеивался над мамой и бабушкой, смотрел, как коробит их от Васькиных выражений, хотя ничего такого он не говорил. Но они жутко переживали. Они считали, что новый квартирант меня непременно испортит. Этими уличными выражениями. И куреньем.

Но бабушкины и мамины переживания меня не трогали. Меня волновало совсем другое.

Я усердно махал кулаками перед зеркалом, чуть не влетал в него в азарте атаки и наконец в один прекрасный день, как говорится в художественной литературе, постучав в перегородку, предложил Василию Иванычу выйти во двор.

Сосед появился передо мной, не улыбаясь, засунув руки в карманы, и ждал довольно сумрачно, что я скажу.

— Ты боксу научить просил, — сказал я, предчувствуя легкую победу над этим широкоплечим увальнем. — Не передумал?

— Аха! — сразу повеселел Васька. — Айда! — И пошел вслед за мной в прохладу сиреневых кустов, которые росли за домом.

Стоял сентябрь, мы оба уже учились: я — в школе, Васька — на своих таинственных курсах счетоводов, а на улице было тепло, настоящее бабье лето, и по хмари в Васькиных глазах я понял, что ему совсем так же, как и мне, заниматься в такую погоду ужасно неохота.

Я снял рубаху, Васька разделся тоже, я стал боком, как требовала боксерская книжка, спрятал подбородок за плечо, выставил кулаки.

— Вот так! — велел я Ваське, подпрыгнул и тихонько стукнул противника в грудь. — Подбородок кулаком прикрывай, — объяснял я ему, подобрался еще раз и ударил снова.

Кулак словно стукнулся о каменную стенку, рука заныла, и в ту же минуту кусты сирени стали расти как-то боком, размахивая ветвями, хотя никакого ветра не было.

Охнув, я опустил на коленки.

— Ты чо! Ты чо! — слышался издалека, будто из-за толстой стены, голос тети Симиного племянника, потом он исчез, и вдруг я вздрогнул — на лицо текло что-то холодное и приятное.

Я открыл глаза. Василий Иванович испуганно улыбался мне и лил из эмалированной кружки воду.

— Я не нарочно, я не хотел, — говорил он смущенно. — На-кось вот, — и приложил к моему носу холодный лист подорожника.

Я поглядел на землю. Прямо передо мной, в песке, выбив неглубокие ямки, чернели капли крови.

«За что?» — думал я, наливаясь слезами.

Ведь у меня и в голове не было, чтобы драться. И книжку о боксе я не для того доставал. Я собирался всего-навсего научить Ваську. Всего-навсего доказать, что и я не лыком шит, не один он в сапогах с загнутыми голенищами. А он... он...

Я старался разозлиться на Ваську — ни за что ведь ударил по носу, но почему-то ничего у меня не выходило. Вся злость куда-то подевалась, даже, наоборот, я чувствовал, кажется, себя легче, свободней, будто с меня свалилась тяжесть.

— Я ведь не хотел, — повторял Васька, боясь, что я зареву, — ведь не нарочно.

«В самом деле, — подумал я. — Он бы мог меня одной левой. Сам виноват, трепло несчастное. Боксер называется!»

Я попробовал было подняться, но Васька велел мне лежать, чтоб скорее прошло. Я послушался, а он виновато говорил:

— Это фигня все — боксы разные. Руками только машут. Хошь, драться по-мужицки научу? — Я мужественно кивал головой. — Сперва знаешь куда бей? По уху!

Я лежал, кося глаза на зеленый подорожник, прикрывающий мой нос, подорожник занимал полнеба и походил на зеленую землю, — слушал Васькино бормотание, и мне казалось, что мы с Васькой старые-старые приятели, с самого, может, первого класса знакомы или еще даже раньше.

Я вспомнил, что дома, на столе, лежит раскрытая книжка по боксу, вспомнил, как соображал, чем бы Ваську удивить, и засмеялся. Все это было теперь смешным и ненужным...

* * *

Вот так странно мы с Васькой подружились и теперь, как только сходились — я из школы, Васька со своих курсов, — сразу же перекликались через стенку.

— Вась! — кричал я, хотя вполне можно было говорить спокойно и он все равно бы услышал. — Чо делаешь?

— Пишу, — отвечал он, не укрощая свой голос, и я сквозь стенку слышал, как скрипит и царапает бумагу соседово перо.

Писание у него выходило плохо — его за это на курсах счетоводов ругали, но Васька убеждал меня, что это не главное.

— Главное, — говорил он, — считать! Счетоводу главное в арифметике не ошибиться. Сложить, вычесть, помножить, разделить.

Васька в арифметике никогда не ошибался. Он даже семилетки не кончил, а на курсы счетоводов только с семилеткой принимали. Но его взяли. Потому что Васька считает как сумасшедший. Прямо без передыху. Спросишь его, он губами чуть пошевелит и сразу отвечает.

— Двести сорок девять помножить на четыреста двадцать шесть! — кричал я.

И не проходило полминуты, Васька басил:

— Сто шесть тысяч семьдесят четыре.

Сперва я Ваську проверял, считал на бумаге столбиком, но потом надоело — он никогда не ошибался.

— Тысяча семьсот восемьдесят четыре умножить на девять тысяч шестьсот семьдесят пять! — орал я в неопишемом удовольствии.

— Семнадцать миллионов двести шестьдесят тысяч двести, — будто машина, отвечал Васька, и, пока он молчал, я даже сквозь стенку явственно ощущал, как шевелит он толстыми губами.

Мама и бабушка, когда мы занимались устным счетом, одобрительно поглядывали на меня, видя, верно, в этом занятии хорошую сторону Васькиного на меня влияния, советовали Ваське, чтобы теперь он мне задал какую-нибудь задачку. Васька послушно спрашивал что-нибудь — сорок восемь, например, на восемьдесят шесть, — и у меня получалась белиберда, приходилось доставать бумагу и черкать быстро карандашом. Нет, что ни говори, такие таланты даются не каждому, такому не выучишься, это от рождения или от бога, как говорила бабушка.

К Васькиной чести надо сказать, что он своим удивительным талантом совсем не гордился и даже, напротив, жаловался мне, что в деревне к нему все приставали — главный бухгалтер приходил с какими-то большими листами и вечера напролет его мучил. А уж про ребят, если у кого не выходили задачи, и говорить нечего. Из-за этой его непонятной даже ему самому способности Ваську и отправил председатель в город на курсы, хотя стремление в жизни у него было совсем другое.

Васька мечтал стать конюхом.

Иногда мы с ним уходили погулять, шлялись по мокрым осенним тротуарам под шелест мелкого дождя, и Васька, не понижая голоса и не стесняясь прохожих, толковал мне, какая лошадь бывает кауряя; это я у него требовал объяснить, как понимать надо «Сивка-бурка, вещая каурка». Говорил про лошадиные хитрости. Оказывается, и лошадь хитрить умеет: брюхо надуть, когда ей седло надевают, а потом его на полном скаку сбросить. Говорил, что поить коня после долгого бега нельзя, что, когда лошадь куют и забивают ей в копыта железные гвозди, чтоб подковы держались, ей не больно, и всякое такое.

Васька говорил кратко, одними восклицательными предложениями, но как-то очень азартно. И после нескольких таких прогулок мне ничего на свете не хотелось больше, чем покататься верхом на лошади.

— Скачешь! — громыхал он на всю улицу. — Скачешь! А она! Крупом брык! И летишь через голову! А сама! Отойдет в сторону и травку хрупают! И глазом на тебя — зырк, зырк! Вроде подмаргивает.

Васькино круглое лицо в такие минуты сияло, белки глаз страшно блестели, и весь он был какой-то отчаянный.

— А ты пахал на лошади-то? — спрашивал я с интересом.

— Но! — кричал он с удовольствием.

— И запрягать умеешь?

Васька гулко хохотал, удивляясь моей безграмотности:

— Да я же у конюха помощником работал, дурелом ты этакий! Все делал, что надо. И корму задавал, и поил, и драил, и навоз убирал.

Однажды вечером мы шли с Васькой по полутемной улице, и вдруг по булыжнику навстречу нам зацокали копыта. Это ехали золотари. Пять или шесть лошадей тащили бочки, копыта выбивали о булыжник искры, черпаки длинными ручками волочились по мостовой, колеса дребезжали и грохали.

Я зажал нос — мы всегда так делали, когда встречали золотарей, — а Васька стоял не шевелясь.

Обоз проехал, понурые лошади скрылись в глубине квартала, а Васька все не шевелился.

— Айда! — сказал я, трогая его за рукав и все еще зажав нос: аромат стойко держался в тихом воздухе.

Но Васька будто не слышал меня. Он глядел в темноту, туда, где исчезла грохочущая колонна.

— Растуды твой! — сказал он вдруг печально. — Городская-то лошадка, а! Уж и забыла, поди-ка, какая травка! Как поваляться-то можно... Провоняла вся... Охо-хо-хо! — вздохнул он по-стариковски. — Да нежели так можно?

Я удивился Васькиным словам.

— Ну, да у вас-то в деревне, — спросил я удивленно, — разве не так?

— Не так, не так, — ответил Васька. — В том году околела у меня одна кобыла, Машкой звали, прямо в меже околела, а не так.

— Отчего околела? — спросил я.

— От натуги да от старости, — сказал он, — потаскай-ка плуг-то или борону.

— Ну, видишь, — сказал я. — Здесь легче.

— «Легче!» — усмехнулся он криво. — Легче, да ведь лошадь-то животное, как и ты.

Я обиделся за такое сравнение, и мы замолчали.

Я вспомнил, что Васька рассказывал, как он убирал навоз.

— И ты ведь навоз отгребал, — сказал я растерянно.

— Сравнил! — незлобиво удивился Васька. — То навоз! От него хлебушко растет.

Так мы ни до чего и не договорились. Но больше по вечерам не гуляли. Может, Васька узнал, что золотари днем не ездят. А может, потому, что появились у него трудности в арифметике.

В уме Васька считал отлично, но ведь он учился на счетовода. Слово такое: сче-то-вод. Значит на счетах надо считать учиться, так у них на курсах было положено.

Как-то раз Васька явился с занятий, неся под мышкой большие канцелярские счеты. За стенкой теперь вечно громыхали костяшки.

— Двадцать два миллиона триста восемьдесят три тысячи девятьсот шестьдесят семь рублей семнадцать копеек, — кричал я Ваське, — плюс семнадцать миллионов сто одна тысяча триста пятьдесят шесть рублей девяносто копеек! — Почему-то у них на курсах любили задачи, где надо считать деньги.

Васька стучал костяшками, бормотал себе что-то под нос, а потом растерянно отвечал:

— Счетов не хватает! Да и откуда такие деньги?

* * *

А отец все не ехал, и мама с бабушкой жутко переживали, словно война еще не кончилась.

Я пытался их успокоить, говорил, что ничего случиться не может, надо только набраться терпения: ведь войны не кончаются сразу — отстрелялись и пошли по домам, — и раз отец не едет, значит, он нужен там, в этой Германии.

— Но написать-то он должен, — говорила, волнуясь, мама, и тут мне нечего было сказать.

Я ждал от отца письма так же нетерпеливо, как мама и бабушка.

Часто по вечерам мы усаживались все втроем на диван, слушали тихую музыку, которую передавали по радио вместо тревожных сводок, и мечтали, как заживем, когда вернется отец.

— Костюм сразу ему справим, — говорила мама и вздыхала, вспоминая, как нас обокрали.

— Комнату разгородим, — говорила бабушка.

«Комнату разгородим!» Эти слова меня неприятно кололи, и я чувствовал вину.

Я вспоминал, как раз в неделю, по воскресеньям, приезжала из деревни Васькина мать, тетя Нюра, и привозила молоко.

Тетя Нюра кружила бутыл, чтобы молоко скорее вытекло, я глотал слюнки, глядя, как в опустошающейся бутылке медленно ползут по стенкам густые остатки молока, и корил себя за слабование. Ведь это молоко было платой за Васькино у нас житье, значит, и за Васькину дружбу. Тетя Нюра уходила, я набрасывался на молоко, заедая его черным хлебом и урча от удовольствия,

и мысль о том, что это молоко — плата за Ваську, сама собой исчезала, будто растворялась в выпитом молоке.

Однажды я вернулся из школы поздно вечером — нас посылали в овощехранилище перебирать картошку и свеклу. В хранилище было не холодно, но руки у меня совсем ооченели и покрылись тонким, но прочным слоем земли.

Я ввалился домой, бросил в изнеможении сумку с учебниками и прислонился к косяку.

Мама и бабушка смотрели на меня с жалостью — они всегда жалели меня, если наш класс ходил копать картошку, перебирать овощи или еще на какую-нибудь работу, словно я один уставал, — но в их глазах на этот раз было еще что-то, кроме жалости. Какое-то лукавство, что ли.

— Мой руки, — сказала мама, поднимая мой портфель, — там, на столе, тебе кое-что есть.

Я подумал, они оставили мне чего-нибудь вкусенького, но есть не хотелось, в горле пересохло, я еще не мог отойти от долгой работы внаклонку и вяло кивнул головой, откручивая кран.

Вода стекала с моих локтей грязными ручьями, хотелось спать, и я представлял, как рухну сейчас на свой скрипящий диван.

Лениво утершись, я подошел к столу и увидел яркую картинку: на еловой лапе вперемежку с цветными шарами раскачивались гномики. Я перевернул картинку и узнал знакомый почерк: открытка была от отца.

Я засмеялся, усталость исчезла, я подпрыгнул, как маленький. Ничего особенного отец не писал, он просто поздравлял нас с наступающим Новым годом и обещал, что уж в новом-то году он непременно приедет домой.

— Ну видите! — крикнул я, оборачиваясь к маме и бабушке. — Я же говорил! Все в порядке! — И заорал: — Васька! Иди к нам!

Мама с бабушкой стали собираться в магазин, ушли, а Васьки все не было.

Я крикнул ему:

— Ну чего ты, иди!

Васька пришел какой-то понурый, тихий, грустный. Но я не заметил этого. Я вертел в руках лакированную открытку с гномиками и вслух читал отцовское письмо.

Васька кивал, криво улыбался, потом взял у меня открытку, посмотрел на гномиков и сказал неожиданно зло:

— У, фашисты!

— Кто? — не понял я.

— Вот эти, карлики.

— Ну сказанул! — возмутился я.

Гномики в разноцветных колпачках мне очень нравились. Да что там, они были просто замечательные, ведь их же прислал мне отец.

— Ясное дело, фашисты, — сказал Васька, всматриваясь в меня. — Да такие картиночки фашисты друг другу посылали!

Я ничего не понимал. Никогда я не видел Ваську таким злым и ожесточенным. Он был всегда добродушным, приветливым, а тут вдруг обозлился на какую-то открытку, на каких-то гномиков.

— Вась! — окликнул я его. — Ты чего?

— Да ничего, — поморщился он, — просто я все фашистское ненавижу. Он помолчал и прибавил: — Они у меня отца убили.

Я сидел на диване и чувствовал, как краснею, как заливаюсь жаром. Мне было противно, гадко.

Вот уже сколько дружу я с Васькой, сколько исходили мы кварталов по нашему городу, а я ни разу — вот стыд-то! — ни разу не спросил Ваську про его отца.

— Васька, — сказал я, потрясенный его словами, — Васька, а где?

— Под Москвой, — ответил он и тяжело вздохнул.

Отец у Васьки погиб под Москвой — он воевал в лыжных войсках. Васька и тетя Нюра узнали об этом уже под конец войны, потому что вся та лыжная часть погибла, уцелело лишь несколько человек и среди них один дядька из райцентра. Уходил воевать этот дядька вместе с Васькиным отцом, уцелел под Москвой, но чуть не погиб под Берлином и вернулся в сорок пятом полным инвалидом.

Мы с Васькой сидели одни в натопленной тихой комнате, такой тихой, что было слышно, как за стенкой у тети Симы тикают ходики, и Васька рассказывал мне, как они с матерью узнали, что в райцентр вернулся тот инвалид, и сразу собрались, не взяли даже хлеба с собой, и пятнадцать верст до этого райцентра все время почти бежали. Инвалид работал сапожником в артели «Верный путь». Васька и тетя Нюра вошли в маленькую каморку, где он стучал молотком, и тетя Нюра заплакала.

— Она не об отце заплакала, — сказал мне Васька, — а об этом инвалиде. У него жена, пока он воевал, померла.

Инвалид сидел на табурете, привязанный к нему широким брезентовым ремнем, чтобы не упасть. Ног у него не было. Только подшитые выше колен стеганные зеленые штаны.

Обратно они шли молча, по разным сторонам проселка, не замечая голода, хотя маковой росинки с утра во рту у них не было. Инвалид сказал, что всех лыжников перемяли танки. У Васькиного отца, как и у других, была только винтовка со штыком и ни одной противотанковой гранаты. Гранаты им еще не успели выдать — прямо с поезда бросили в атаку. И танков никто не ожидал. Они появились откуда-то со стороны.

— Кончу курсы, — сказал Васька глухо, — денег подзаколочу и поеду в Москву отца искать.

— Как же ты его найдешь? — удивился я.

— Найду! — уверенно ответил Васька. — Инвалид говорил, на сто первом километре все было.

Мне снова стало стыдно перед Васькой. Я был счастливее его. Вот и отец у меня живой, всю войну прошел, ранило его, а живой. А у Васьки отца нет. И больше никогда не будет.

Васька встал, прошелся по комнате в залатанных валенках с загнутыми голенищами, подросший и худой — пиджак болтался на нем, словно на палке. Он чиркнул спичкой и закурил.

Я вспомнил, как увидел его в первый раз: курящим и с галстуком. И, глядя на Ваську новым, повзрослевшим взглядом, я подумал, что удивлялся тогда, летом, потому что не знал Ваську.

А теперь вот знаю. И считаю, что курить он имеет полное право.

Я потихоньку спрятал отцовскую открытку с гномиками под скатерть.

* * *

С того вечера мы с Васькой часто про отцов говорили. Он про своего, я про своего.

Я показал Ваське значок ГТО на цепочке, рассказал, как отец его мне, совсем маленькому, уходя на войну, подарил. Как потом он в госпитале лежал, как учил меня с высокой горы на лыжах кататься. Как я кисеты шил, а потом своему же отцу подарил.

Васька фронту тоже помогал. Он пуховых кроликов, пока в школе учился, разводил, сам пух из них дергал, а бабка его, отцова мать, вязала из этого пуха подшлемники и варежки с двумя пальцами — для снайперов. Чтобы им не холодно было в снегу лежать и удобно фашистов выцеливать.

— Знаешь, — сказал Васька, — кем бы я стал, если бы на войну меня взяли? Снайпером. Танкисты там или артиллеристы, конечно, тоже этих гадов здорово крошат, но снайпер прямо в лоб фашисту целится. Прямо в лицо!

Васька сжимал кулаки, бледнел, и мне казалось, что вот будь сейчас перед нами немец, Васька бы его руками от лютой ненависти задушил. Не побоялся бы на здорового фрица броситься.

Однажды я вытащил альбом с карточками, и мы уселись разглядывать их. Отец был на многих фотографиях — в санатории, под пальмой; в шляпе и с галстуком, облокотясь на какую-то вазу; с мамой и бабушкой и снова один. Васька внимательно вглядывался в моего отца, улыбался вместе со мной, смеялся над фотографией, где отец снят со мной — я сижу у него на плече, совсем маленький, сморщился, вот-вот зареву от страха, что отец посадил меня так высоко.

Мы досмотрели карточки, Васька задумался.

— Твой-то поездил, видать, много, — сказал он. — По санаториям, по чужим местам, а мой дальше города не бывал.

Васька достал папиросы, закурил, глубоко затянувшись, потом встрепенулся.

— Отец, когда из города приезжал, гостинцы мне привозил. Пряники в серебряной бумажке. И знаешь, что он мне нахваливал, как из города вернется? Театр! Красота, говорил, замечательная.

— А ты театра не видел? — спросил я, посмеиваясь.

— Не-а! — ответил Васька. — В жисть не бывал.

— Так давай сходим!

— Аха! — засмеялся Васька. — В получку.

Получкой он называл деньги, которые ему платили на счетоводных курсах в конце каждого месяца. Эту подробность я помню особенно хорошо, потому что именно из-за этого все так и получилось.

* * *

Дело было под самый Новый год. Вернувшись с курсов, Васька прогромыхал мне через стенку, что он взял два билета в театр — на себя и на меня. Представление шло днем, показывали пьесу «Финист — Ясный сокол», сказку.

Ваську театр поразил. Не артисты в нарядных сказочных костюмах, не Финист — Ясный сокол, кудрявый, в серебряных, блестящих от света фонарей доспехах, не декорации, а сам театр. Я видел, как во время спектакля Васька тарашился по сторонам, оглядывая бесконечные ряды кресел, глазел вверх на огромную люстру, мерцающую в полумраке бронзовыми обручами и хрустальными висюльками. Но больше всего понравился Ваське занавес огромный малиновый занавес из бархата. Когда наступил перерыв и все хлопали, вызывая артистов, и занавес тихо, но мощно расступался, собираясь в плотные, густые складки, Васька не хлопал и не смотрел на артистов, а глядел вверх, пытаясь понять, как это оттягивается такой огромный и, видно, тяжелый кусок материи.

— Здорово! — сказал он с восхищением. — Целое поле, почитай, мануфактуры! — И вдруг спросил меня: — Дорогая ведь, поди?

В фойе кругами колобродила очередь. Мы подошли поближе. Оказалось, продают мороженое. Распаренные, вспотевшие счастливики выбирались из толпы у синей будочки, где шевелилась тетка в накрахмаленном чепчике, и, хмурясь от счастья, лизали тонкие кругляшки, окаймленные клетчатыми вафлями.

— Что это? — спросил Васька.

Я только хмыкнул.

И вдруг Васькина робость исчезла. Он двинулся вперед, шевеля локтями, и скоро я увидел его вихры у самой будки. Там зашумели, очередь подналегла, и немного погодя из толкучки выбрался взлохмаченный счетовод с двумя кругляшами мороженого.

— На! — сказал он хрипло и откусил свою порцию, как кусают хлеб.

— Во дает! — засмеялся я. — Лизать надо! А то так тебе ненадолго хватит!

— Ништяк! — восторженно пробасил Васька, куснул еще раз, еще и засунул в рот остатки мороженого, хрупя вафлями. Облизавшись, он помолчал, задумчиво глядя на мое мороженое — как я тщательно обвожу его языком, хмыкнул и сказал: — А ничо! Скусно!

Мы погуляли по мраморным лестницам и коврам, сходили в туалет, где Васька покурил, а я долизал мороженое, и пошли вслед за всеми в зал: зазвонил звонок.

Огни стали медленно гаснуть, и билетерши запахивали с железным грохотом занавески, прикрывающие выход, как вдруг Васька схватил меня за руку и потащил обратно.

— А ну ее, эту сказку! — сказал он, когда мы снова оказались в фойе. — Ты чо, маленький, что ли?

Я было надулся — после третьего звонка в зал не пускали, но Васька мотнул головой в угол:

— Вон я чо придумал!

Возле будки мороженщицы никого теперь не было, все ушли смотреть представление, и тетка в накрахмаленном чепчике, мусявя пальцы, считала горку разноцветных денег. Мое огорчение тотчас исчезло, Финист — Ясный сокол с его мечом утратил все свои доблести, и мы с Васькой бегом побежали через паркетный блистающий зал к синей будке.

Я все лизал мороженое, по старой своей привычке, и никак не поспевал за Васькой, а он подзуживал меня, чтобы я брал пример с него и жевал, а не валандался.

После каждой порции Васька ухарски вытаскивал из кармана деньги, клал их продавщице, хрупал вафлями, опять ждал меня — и я сдался. И тоже начал кусать, а не лизать.

Дело шло быстро, мы молчали, только причмокивали, и я чувствовал, как леденело у меня горло. Остановились мы как будто на десятой порции и то не потому, что объелись, а потому, что у Васьки кончились деньги.

— Вся зарплату? — спросил я деревянным голосом, ужасаясь Васькиной удали.

— Еще на одну осталось! — прохрипел он, разглаживая мятые бумажки, и добавил великодушно: — Хошь?

— Не! — ответил я совершенно искренне.

Но Васька уже протягивал рубли мороженщице. Она поглядывала на нас удивленно, но ничего не говорила.

Потом мы пошли в туалет, Васька снова покурил, предлагая мне папироску.

— Ты зыбни, зыбни! — уговаривал меня Васька. — Сразу отойдешь!

Но я так и не зыбнул. И наверное, зря.

* * *

Назавтра был последний перед каникулами день, а я не мог шевельнуться. Голова горела, как головешка, муторно и жарко, горло распухло, и я дышал с хрипом, тяжело потея. Мама заохала, вызвала врача и не пустила меня в школу. К обеду пришел доктор, потрогал мой лоб и даже не стал градусник ставить.

— Где это ты так? — спрашивала меня бабушка. — Сознавайся, опять снегу поел?

Ей почему-то всегда казалось, что я зимой ем снег, а весной лижу сосульки. А между прочим, никогда я снег не ел. Ну, может, раза два попробовал, так и то давно. Снег мне не понравился — он был какой-то сухой и бессольный, и я его больше в рот не брал, а вот бабушке всегда мерещилось, будто я снегоед какой-то.

«Дурак ты, дурак! — ругал я себя. — Надо было не слушать Ваську. Что он в мороженом понимает — первый раз увидел. Жадность одолела. Боялся, что Васька переест, дурачина ты, простофиля». Но бабушке в ответ мотал головой.

— Кхакхой снех, — хрипел я. — И так хонодхно!

Обедать я не стал, не было аппетита, и бабушка прямо извелась, уговаривая меня, протягивая ложку с супом. Да и о какой еде могла идти речь!

Солнце уходило за крыши, сугробы синели. Новый год подступал тихими шагами, а я хрипел и кашлял и не мог пойти на базар за елкой.

Так мы вчера уговорились с Васькой. Я прихожу из школы и бегу за елкой, а он, вернувшись с занятий позже, помогает мне ее украсить. Васька все не возвращался, а бабушка, когда я сказал ей про елку, даже возмутилась:

— Не брошу же я тебя!

Васька пришел уже под вечер. Он остановился у порога, разглядывая меня, а я только виновато развел руками — мол, видишь?

Васька шагнул в комнату, улыбнулся и сказал:

— Ништяк, и так проживем.

А я чуть не заплакал. Я-то надеялся на него. Я-то думал, может, Васька чего-нибудь придумает. Он увидел, как я скис, тряхнул головой и сказал:

— Ну дак ладно. Не боись. Я на базар сбегаяю, — и исчез, оставив от валенок мокрые следы.

Как-то сразу стало полегче. И горло, кажется, отпустило. И будто бы даже жар спал. Я проглотил несколько ложек супа. Бабушка улыбнулась. Я улыбнулся тоже: Васька не мог подвести, такой уж он человек.

Но Васька пришел без елки.

— Пусто на рынке, — сказал он виновато.

«Ну все! Попраздновали называется». Я отвернулся к стене, закусив дрожащие губы.

— Сами виноваты, — укорила мама, — не могли вчера позаботиться или еще раньше?

— Вчера в театр ходили, — ответил я сдавленным голосом, готовый зареветь.

— Ну, ну! — сказала мама. — Постыдись Васи.

Но никого я стыдиться не собирался и начал уже хлюпать носом, как Васька вдруг сказал:

— Тетя Лиза, дайте топор.

— Зачем это? — всполошилась бабушка, заведовавшая всем нашим хозяйством.

— В лес пойду.

Я приподнял голову. В лес! Во дает Васька! Друг так друг, ничего не скажешь!

— Ни в коем случае! — заговорила, волнуясь, мама. — Сейчас стемнеет, а до лесу километров пять, заблудишься. Нет, нет!

— Не пропаду, — сказал он, посмеиваясь, — не бойтесь, я ведь деревенский!

— Нет, это безумие, — говорила мама, расхаживая по комнате. — Он просто не успеет. А если заблудится? — Она нервно шагала, поглядывала строго на меня и отворачивалась, будто Васька уже погиб в снежных сугробах.

Васька вернулся ровно через пять минут, весело смеясь. За ним вошла тетя Нюра. В вытянутой руке Васька держал за комель аккуратную маленькую елочку, такую ровную, такую зеленую и пушистую, что от одного ее вида хотелось смеяться.

— Где ты взял? — вскричал я и вскочил с дивана как был — в трусах и майке, совсем не стесняясь тети Нюры.

— Мамка принесла! — ответил Васька, вытаскивая топор из-за веревки. До ворот дошел, гляжу — встречь она! Да и с ней! — он кивнул на елку.

— Ага! — ответила тетя Нюра. — Еду на подводе и думаю: а ну как у них там елки-то нету? Возницу подговорила, залезла в сугроб и взяла вот эконьку.

Тетя Нюра доставала из мешка белые, похожие на хлебцы кругляши. Это было мороженое молоко.

— Ой, Нюра, золотко! — запричитала бабушка и вдруг всплакнула. — Ты для нас как Дед-Мороз.

— Не Дед-Мороз, а Баба-Морозиха, — сказал я, и все засмеялись.

— А у нас вот Коля приболел.

Бабушка суетилась, усаживала тетю Нюру поближе к печке, стучала в стенку, чтобы тетя Сима не больно-то расфуфыривалась, а шла прямо так, карнавала не будет, наливала Бабе-Морозихе горячего чаю, клала в кастрюльку кругляш мороженого молока и все говорила, говорила, и я ее понимал, потому что в самом деле все получилось как будто в волшебной сказке.

— Ты извини нас, Нюра, — сказала бабушка, вдруг останавливаясь перед ней.

— За что это? — удивилась тетя Нюра и оторвалась от большой кружки с чаем.

— Да вот, — кивнула бабушка на плитку, — за молоко.

— Ну что ты, Васильевна! — тихо сказала тетя Нюра. — Ведь у вас Вася живет, мы вам благодарные, а про молочко-то, так где оно еще-то есть, как не в деревне?

— Ну, мам! Чо там, дома-то? — весело крикнул Васька. Он, торопясь, наряжал елку.

— Все ладно, — ответила тетя Нюра негромко. — Председатель нос отморозил. За соломой ездили в район.

Васька захохотал, я тоже улыбнулся, представив себе толстого дядьку с опухшим красным носом, улыбнулась и мама с бабушкой, но тетя Нюра не улыбалась — она все смотрела в свою кружку с чаем, никак не могла оторваться.

— Еще чо? — спросил Васька.

— Да так, — нехотя ответила тетя Нюра, — ничего. — И, помолчав, негромко добавила: — Вот Маньку заколола.

Васька шагнул от елки, и игрушки заколыхались и забренчали. «Вот увалень! — подумал я недовольно. — Где такие шары или звездочки теперь достанешь, если кокнутся? Они довоенные!» Но Васька ничего не замечал. Он стоял посреди комнаты и смотрел на свою мать испуганными глазами. А тетя Нюра все ниже опускала голову.

— Хухры-мухры! — выдохнул испуганно Васька, а я все никак не мог понять, чего это он испугался.

— А кто эта Манька? — спросил я не к месту, и мне никто не ответил.

— Что поделаешь, — сказала тетя Нюра Ваське, виновато улыбаясь, — ни соломинки во дворе...

Васька, будто подрубленный, сел на стул. Стул всхлипнул.

Мама подошла к тете Нюре и положила ей руку на плечо. Тетя Нюра вскинула голову.

— Да нет, нет, — заговорила она быстро, испуганно поглядывая то на маму, то на бабушку. — Вы не беспокойтесь, молочко-то я вам все одно приносить стану. Займу или вот мясо продам, так деньгами, если хотите.

— Нюра, Нюра! — сказала мама, глядя ее по плечу. — Что вы, Нюра, как вы можете! И не думайте! Вася пусть живет, выбросьте это из головы!

Так вот что случилось! Тетя Нюра заколола корову. Корову звали Манька, и это ее молоко пил я всегда с наслаждением.

Горло у меня сжалось. Я хотел что-нибудь крикнуть такое тете Нюре. Да что она, с ума сошла, что ли? Что она думает, мы не люди? Да что такое молоко? Я свободненько, например, могу обойтись без него. И бабушка наша совсем не жадная, это просто время такое, она и поддалась, да и то — я знаю! — из-за меня. Пусть считается, что молоко это мы у тети Нюры займы взяли. Вот придет из армии отец, станет работать, и мы отдадим. Обязательно отдадим.

— Тетя Нюра! — прохрипел я, приподнявшись на диване, и все — мама, и бабушка, и тетя Нюра, и Васька — вдруг повернулись ко мне. Может, вспомнили, что я больной, а может, я сказал это каким-то странным голосом. — Тетя Нюра! — повторил я. — Вы не думайте! Мы не такие! Мы будто у вас в долг взяли, ладно?

Тетя Нюра прикрыла глаза.

— Ладно, ладно, — прошептала она.

Возле плитки, где была бабушка, раздался какой-то плеск. Я посмотрел туда. Бабушка перелила горячее молоко из кастрюли в миску и, обхватив ее края, двинулась к двери.

— Ты куда, Васильевна? — неожиданно строго спросила тетя Нюра.

Бабушка вздрогнула, остановилась, едва не расплескав молоко, и ответила растерянным голосом:

— На мороз...

Тетя Нюра вдруг вскочила со стула и кинулась к бабушке:

— И не выдумывай! Молока нет, зато мясо теперь есть, не пропадем, а весна будет, телку возьму!

Тетя Нюра налила горячее молоко в эмалированную кружку, принесла его мне.

— Эх, медку бы! — сказала она веселым голосом и засмеялась, оглядываясь на маму и бабушку. — Ничего, бабоньки! И медок будет, и молочко, и хлебушко! Все будет, дайте только срок! — Она посмотрела внимательно на меня. — Дайте только срок! — тихо повторила она.

* * *

Пришло лето.

Васька уехал, а отец все не возвращался.

Я лежал в траве, обрывал созревшие одуванчики и нехотя сдувал пушистые шары. Белые парашютики улетали, подхваченные мягким ветром, поднимались в небо и исчезали из глаз.

«Куда-то они упадут? — думал я. — Вырастут ли из них новые одуванчики? — И без перехода горевал о Ваське. — Как он там счетоводит?»

Я проводил Ваську в мае. Мы шли вместе по жарким тихим улицам до перевоза и там долго ждали, когда маленький катер, тяжело пыхтящий черным дымом, пригонит с того берега паром.

Река разлилась, раздвинув свои края, вода мутно бурлила за бортом дебаркадера, расходилась кругами — стремительными и страшными.

Васька скинул с плеча тощий мешок — белую холстяную котомку, обвязанную у горловины грубой веревкой, — положил его на оградку дебаркадера, облокотился, щурясь на всплескивающие серебряные волны.

— Ну вот! — сказал он, не оборачиваясь ко мне. — Ну вот и половодье!

— «Половодье»! — передразнил его я. Нет чтоб сказать чего-нибудь такое. Пиши, например, и так далее. Но Васька ничего не чувствовал.

— Ох, работенки щас! — сказал он с видимым удовольствием, косясь на меня. — Невпроворот! — И снова отвернулся, будто решив, что я его не пойму. А я и не понимал. И злился еще.

Сам не знаю, почему злился. Может, оттого, что чувствовал: мы с Васькой словно два путника на дороге. Ходко шагают оба, но один все-таки быстрее идет, размашистей. А второй, как ни старается, настигнуть его не может. И тот, кто отстает, не виноват, и тот, кто уходит вперед, — тоже не виноват, хотя оба уговорились вместе идти. Вместе-то вместе, да не выходит. Вот я и злился.

Катер, пыхтя, словно уставший старик, подвел паром к дебаркадеру, перевозчицы метнули канаты, надсадно заскрипели деревянные борта, и с парома стали съезжать подводы, газогенераторки, сходить пассажиры, на место которых потянулись другие подводы, другие газогенераторки, чадящие синим дымом, и другие пассажиры.

— Ну, давай пять, — сказал Васька, улыбаясь мне, будто настала самая радостная в его жизни минута, и скинул мешок на плечо.

— Держи, — стараясь не расхлюпаться, ответил я в тон ему и протянул руку.

Я думал, что он что-нибудь скажет все-таки в последнюю минуту, но он взял мою ладонь, внимательно посмотрел на меня своими прозрачными глазами, потрянул руку три раза и натянул поглубже на лоб фуражку.

— Пока, — сказал Васька и больше ничего не прибавил, а повернулся и пошел скорым шагом по хлипким мосткам.

Паромщицы перекинули канат назад, катер гуднул прерывисто и устало, потянулся изо всех сил вперед, вытащил из воды стальной трос, который, расправляясь, задрожал, как струна, если ее сильно дернуть, — и паром отодвинулся от дебаркадера.

Я увидел, как Васька снял фуражку и помахал мне.

— Буду в городе — зайду! — крикнул он хриловатым своим баском и опять надел фуражку, сложил руки на барьере и уже не махал, не кричал просто смотрел на меня, и все, пока река не разделила нас...

И вот теперь я лежал в траве, сдувал одуванчики, и как-то нехорошо было у меня на душе. Плохо мы простились с Васькой. И не объяснишь, почему плохо, а плохо. Мне все казалось, будто я что-то забыл.

Где-то что-то забыл.

* * *

Тобик крутился в траве, клацал зубами, гоняясь за своим хвостом, потом прижимал уши к затылку, замирал и срывался в кусты за бабочкой или толстой мухой, безмятежно таякая и веселясь.

И когда он затаивался дольше и громче — так он обычно лаял на чужих, я даже не обратил внимания. Подумал, что, может, бабочка ему какая-нибудь особенная попалась. Или схватил стрекозу, шелестящую крыльями, а она изогнулась да и цапнула его своей страшной челюстью в мокрый нос.

Шаги я услышал неожиданно и, когда обернулся, рассмеялся: это была тетя Нюра.

— Тетя Нюра пришла! — закричал я, вскочив, и во двор выбежала бабушка.

— Ой, Нюра пришла! — причитала она. — Нюрушка-голубушка, кормилица наша!

— Полноте, Васильевна! — смеясь, сказала тетя Нюра, разматывая косынку. Лицо ее загорело до черноты. — Не вырвалась бы! Жатва! Да председатель погнал торговать. Целу машину, Васильевна, веришь ли, черпаком продала.

Бабушка заохала, запричитала, повела тетю Нюру домой, в холодок. Мама и тетя Сима были на работе. Бабушка поставила чайник, чтоб напоить гостью до поту.

— Знаешь что, Васильевна? — сказала тетя Нюра. — Симы нет, дак я у тебя.

— Как, как? — не поняла бабушка.

Но тетя Нюра рассмеялась и велела мне отвернуться.

Я послушно отошел, услышал, как прошелестели босые тети Нюрины шаги к дивану, что-то зашуршало, потом цокнуло об пол, и тетя Нюра засмеялась:

— Ой, пуговица оторвалась! Не выдержала вырочки!

И бабушка засмеялась тоже, но как-то суховаато, сдержанно.

— Поворачивайся, Кольча! — весело проговорила тетя Нюра.

Я обернулся и увидел на диване и рядом, на полу, кучу скомканных, мятых денег.

— Нюра, Нюра, — испуганно сказала бабушка, — откуда ты столько?

Но тетя Нюра заливисто хохотала.

— Да говорю же, Васильевна, машину молока продала! Полна машина с бидонами была!

Бабушка замолчала, испуганно глядя на кучу денег, а мне тетя Нюра велела весело:

— Помогай, Кольча! Красненькие — сюда, синенькие — сюда, зелененькие — вот сюда.

Я принялся разглаживать мятые деньги, складывать их по стопкам, а тетя Нюра все смеялась, все говорила — радовалась, что много наторговала.

— Теперь, — говорила она, — молочка у нас хоть залейся. Хлебушко, слава богу, вырос, но пока не мололи, без него сидим, это верно, а молочка хоть отбавляй. Ну ничего, вот и картошка приспеет, а там и хлебушек по плану сдадим, глядишь, справимся помаленьку.

Она тараторила, никогда я такой ее не видел, а бабушка все стояла как застылая, подперла кулачком подбородок и никак от денег оторваться не могла.

— Ой, Нюра, Нюра! — проговорила она. — В жизнь столько денег не видывала, разве что в революцию, так тогда на миллионы торговали.

— Я и сама не видывала! — смеялась тетя Нюра. — Как налью, деньги-то за лифчик сую и все думаю: ой, кабы не вывалились, казенные же!

— А считанное? — спросила бабушка, вглядываясь в тетю Нюру.

— Что? — не поняла она.

— А считанное молоко-то?

Тетя Нюра пронзительно взглянула на бабушку, и та сразу пошла к своим кастрюлькам.

— Считанное, не считанное, — ответила она хмуро, помолчав, — а денежки эти не наши, колхозные.

— Да я не об этом, — заговорила бабушка, возвращаясь от кастрюлек. Я и не об этом совсем, как ты могла подумать! Я спросить хотела, как отчитываться-то будешь? И опять же, сколько тебе за труды положено? Целый день, поди-ка, на жаре проторчала.

— К жаре-то нам не привыкать, — сказала тетя Нюра. — Вон люди на уборке костоломят, а я тут, как кассир, деньги мусякаю.

— Вот Ваське-то работы, а, тетя Нюра? — спросил я, заглядывая ей в глаза.

— Нет, это не ему, — ответила она. — Это главному бухгалтеру сдавать буду. Васька счетовод. Счет ведет, сколько чего, каких гектаров сделано. Он до денег не допущен, потому как несовершеннолетний.

— Да и слава богу! — обрадовалась бабушка, будто боялась, что с деньгами Васька напутает.

— Ох, деньги, деньги! — вздохнула тетя Нюра, помолчав. — И вроде бумажка простая, а есть все же в ней сила!

— Охо-хо! — вздохнула бабушка. — Какая еще сила-то!

Но тетя Нюра будто и не услышала ее вздоха.

— Вот эти вот денежки-то, — сказала она, кивнув на диван, — на трактор копим, Васильевна. Ноне все на кобылах землю горбим. Было до войны три трактора, дак разошлись. — Она засмеялась и добавила, становясь серьезной: — А теперь новый купим.

Я поглядел внимательно на тетю Нюру и вспомнил базар — бывал я там и с бабушкой, и с мамой, и один, — вспомнил ряды молочниц в белых фартуках, в белых нарукавниках, бойко орудующих железными черпаками с длинными ручками. Глядя на этих торговок, я всегда завидовал им, завидовал, что любая из них может взять и вот так, запросто, целый черпак молока выпить. А если захочет, и еще один: бидон-то у нее вон какой, два мужика еле с машины снимают. Торговки казались мне жмотинами и богачками — молоко стоило не дешево, и однажды я видел, как один старик покупал полчерпака. Молочница долго отплескивала из своего черпака, отлила, наконец, ругаясь, деду в бутылку, и он ушел, шаркая ногами. С тех пор я этих торговок особенно не любил.

И вот тетя Нюра. Она ведь тоже торговка. А торговала на трактор.

Я с интересом разглядывал Васькину мать. Рядом с ней лежали деньги, разложенные в стопки.

— Есть на трактор? — спросил я тетю Нюру, довольный, что и я к этому трактору имею отношение.

— На одну гусеницу! — ответила она, рассмеявшись. — Или на полмотора.

Я тоже засмеялся, представив, как по полю ползет не целый трактор, а одна только гусеница.

* * *

Оставив деньги на диване, тетя Нюра сбегала в магазин, принесла соли и спичек. Потом пришла мама, и мы уселись пить чай.

— Вы меня извиняйте, бабоньки, — сказала тетя Нюра, прихлебывая чай, — что молочка-то Николке я не привезла. На машине казенное было, а признаться у соседок не успела, погнал окаянный председатель прямо из конторы.

Мама и бабушка смутились, стали говорить: «Что ты, Нюра, да зачем, не такое теперь голодное время, все же лето», — но она, не слушая их, посмотрела на меня и сказала:

— Ну-ка, а может, Коле к нам податься? — И засмеялась: — Конечно! Живет парень в городе, глотает пыль, а у нас чистота! Раздолье!

Я сначала даже опешил. А потом вскочил, словно ошпаренный.

— Мама! — крикнул я. — Бабушка! Отпустите!

Видно, глаза мои сверкали, как угли, и голос звенел. Мама и бабушка нерешительно переглядывались.

— Он вам обузой будет, Нюра, — сказала наконец мама. — Ты на работе, Вася тоже. Не хватало еще тебе лишних хлопот.

— Ну и хлопот! — удивилась тетя Нюра. — Дитя малое, что ли? Вон глядите, — она кивнула на меня, — парень что надо! Самостоятельный! А скучать ему некогда будет. На уборку со мной поедет. По грибы с Васькой сбегает, порыбалит малость. Эх, да разве у нас соскучишься!

Ну тетя Нюра! Она сегодня просто нравилась мне. Веселая! На тракторную гусеницу молока продала. И маму с бабушкой в один миг уговорила.

Я стал отыскивать старый рюкзачок, суетиться, спешить, бегать по комнате, и мама, и бабушка, и тетя Нюра хором рассмеялись: отправиться-то мы должны были только завтра.

— Ну и что! — сказал я, смутившись. — Ведь рано, наверное, пойдем?

— Верно, — ответила тетя Нюра. — Пораньше отправимся, чтоб засветло добраться.

Всю ночь я просыпался, мне казалось, уже пора, тетя Нюра готова и сейчас уйдет без меня. Но было тихо, в темноте кто-то негромко всхрапывал, и я снова погружался в ненадежный сон. В последний раз я проснулся не сам, меня кто-то тряс за плечо, я отнекивался и прятал голову под одеяло, потом вскочил, крутя глазами. Тетя Нюра тихо смеялась.

Она сидела умытая, одетая, готовая в путь. Путаясь в рубашке, я торопливо оделся, попил чаю, повесил на спину легкий рюкзак.

— Ну, с богом! — сказала тетя Нюра и шагнула к двери.

— С богом, с богом! — как лесное эхо, откликнулись бабушка и мама.

А мама, наклонившись, шепнула мне:

— Осторожней там, Коля! В речку не лезь! И в лес один не ходи! Не кури еще, слышишь?

Я пожал плечом — было неудобно перед тетей Нюрой, что мама шепчет мне такие слова, будто маленькому.

Река, бурлившая весной, теперь, в июле, опала, сузила берега, разметала песчаные косы.

Мы переправились паромом и пошли по тропке, которая вилась через поле. Я почувствовал вдруг, что воздух пахнет смолой и медом.

Тропка наша то поднималась вверх, то ныряла в низину, заросшую высокими цветами с большими, яркими колокольцами.

— Это иван-чай, — говорила мне тетя Нюра.

— Почему Иван? И почему чай?

— А зовут так, — загадочно говорила тетя Нюра, — спокон веку зовут. Был, может, Иван, который из этого цветка чай варил? — Она смеялась, шагала размашисто, твердо переставляя сильные ноги, и я едва поспевал за ней.

Под ногами скрипели кузнечики, и, когда мы поднимались на холм, я всякий раз оборачивался: там, внизу, кузнечики при шорохе шагов умолкали, скрипели только те, что подальше; отсюда же, с высоты, поле иван-чая покачивалось, будто неторопливые морские волны, и тысячи, нет, миллионы кузнечиков в один тон пели огромным хором — сиреневое море покачивалось и пело, пело и покачивалось.

Я улыбался, догонял тетю Нюру, она поглядывала на меня искоса и спрашивала:

— Нравится?

Нравится! Еще бы не нравиться! Я бывал, конечно, в лесу и в поле тоже бывал, когда ездил в пионерский лагерь от маминого госпиталя, но там мы ходили и в лес, и в поле колонной — в затылок друг другу, и то, что я запомнил тогда, совсем не походило на это. Здесь было тихо, и никто не мешал мне смотреть и слушать. И я слушал, и смотрел, и дышал полной грудью.

* * *

— Вишь оконце открытое, — сказала тетя Нюра. — Васька подле него сидит. Поди напугай!

Она сидела на берегу ручья, держа в руках свои стоптанные туфли, а ногами, как девчонка, болтала в воде, так что брызги летели.

— Иди, иди! — подговаривала она меня, и я, оставив свой рюкзак, крадучись пошел вдоль деревни.

У самой избы я согнулся и подкрался к окошку на четвереньках. Я не хотел, чтобы Васька меня увидел сразу. Я только приподнялся, чтобы взглянуть, там ли он и не ошибся ли я домом.

Медленно разогнувшись, я заглянул в окно и увидел Ваську. Он сидел, упершись кулаками в обе щеки, за ухом у него торчал тонко очиненный карандаш, и смотрел Васька прямо на меня.

Он смотрел остановившимся, пустым взглядом и не видел меня. Будто я был в шапке-невидимке. Или стеклянный.

— Вась! — позвал я шепотом.

Он был неподвижен. «Может, спит? — мелькнуло у меня. — Бывает же, люди спят с открытыми глазами».

— Вась! — окликнул я его снова, погромче, но он снова не услышал.

— Василей! — сказал кто-то громко из глубины комнаты. — Готово?

— Готово, — ответил Васька глухим голосом и, видно, очнувшись, увидел меня.

— Хухры-мухры! — пробормотал он удивленно, открыл рот, потом вскочил, с грохотом откинув стул; отточенный карандаш выпал из-за уха, и Васька вылетел как пробка прямо в окно.

— Васька! — кричал кто-то из глубины комнаты. — Васька! Обалдуй!

Но Васька ничего не слышал. Он изо всех сил жал мою руку.

— Ты чо? — басил Васька на всю улицу. — С луны свалился?

— С луны, с луны! — сказала подошедшая к нам тетя Нюра. — А ты отколь думал? — Она засмеялась и крикнула в окно: — Макарыч, примамай выручку!

Из распахнутого окна высунулась лысая голова с маленьким носом, похожим скорее не на нос, а на закорючку. На носу, на самом краешке, сидели очки.

— Явилася! — занудным голосом сказал лысатик. — Не запылилася! Ох, Нюрка, Нюрка, как это доперла-то ты: по городу с деньгами таскаться! А ежели обчистят? За жизнь не рассчитаисся!

Тетя Нюра махнула на лысатика своими стоптанными туфлями, которые держала в руке, и ответила:

— Ты, Макарыч, не скрипи-ка, а по такому случаю отпусти Ваську из конторы. Вон к нему друг с городу приехал.

Макарыч пронзительно оглядел меня с ног до головы и спросил тетю Нюру недоверчиво:

— А сколь выручила? — будто от этого зависело, отпустит он Ваську или нет.

— «Сколь, сколь»! — засмеялась она опять. — Все твои, сколь ни на есть.

Макарыч нехотя согласился. Тетя Нюра осталась в конторе, а мы побежали к Васькиному дому.

— Это кто? — спросил я.

— Главбух! — ответил Васька, хмурясь. — Ест меня поедом. То считай, это считай, будто я арифмометр. Арифмометру не доверяет, а мне доверяет, гад такой. Ни на шаг от себя не отпускает, будто я при нем адъютант какой.

— Сам виноват, — сказал я смеясь, — считальщик ты этакий!

Васькин дом стоял на пригорке и выделялся среди других желтыми, еще не почерневшими от ветра и старости бревнами.

— Красивый домина! — сказал я, желая польстить Ваське.

Он заулыбался.

— Отец построил! — ответил он. — Уже война шла, а изба еще недостроенная. Так веришь ли, отец даже ночью работал. Хорошо еще, осенью в армию взяли.

Он повернул круглое кольцо в воротах. Дверь со скрипом подалась, а мы очутились во дворе.

Чудным был этот двор. Он и на двор-то не походил, скорее на продолжение дома: такие же крепкие бревенчатые стены, крыша. И удивительно — двое ворот: одни на улицу, другие, Васька сказал, в огород. Во двор выходило высокое крылечко с крутыми ступеньками. Справа — еще две двери.

— Там сарайки, — объяснял мне Васька, водя по двору, — вот тут дверка в погреб, это ход на сеновал. А теперь айда в избу, да только голову наклоняй.

Я не очень прислушался к Васькиному совету, вернее, просто не понял, зачем мне наклонять голову, и, переступая порожек, звонко стукнулся о притолоку — в голове будто колокола грянули.

— Эх ты! — сказал Васька и притащил мне столовую ложку: — На, приставь!

Боль медленно утихала, и я озирался, все удивляясь. Со стороны дом казался большим, просто огромным, а внутри было даже тесно. Почти пол-избы занимала большая печка с черным огромным ртом. От печки под самым потолком шел деревянный настил.

— Это полати, — сказал Васька голосом экскурсовода. — Там бабка сейчас спит.

Я медленно оглядывал избу — широкие лавки вдоль окон, деревянный, добела скобленный пол, икону в углу.

На одной стене висела стеклянная рама, украшенная узорными цветами. За ней были фотокарточки. Я стал разглядывать их. Среди разных лиц меня привлекло одно: в белой рубашке, на гнущем венском стуле сидит человек и держит в руках гармошку. Мне показалось, где-то я его видел как будто, и я обернулся, чтобы спросить Ваську, но осекся. Конечно, он просто походил на Ваську. Вернее, Васька походил на него.

— Он? — спросил я.

— Отец! — подтвердил Васька и задумчиво объяснил: — Перед войной снимался.

Я вглядывался в простое, такое похожее на Васькино лицо человека в белой рубашке и представлял себе, как это было... Белое поле, сугробы и черные танки, ползущие на наших солдат. Медленно, словно нехотя, солдаты в темных шинелях, которые хорошо видны на белом снегу, поднимаются из сугробов и бегут назад, потому что им ничего не остается другого: против танков нужны гранаты. Но гранат нет, и солдаты отступают. Я не хочу верить, что еще немного — и их, живых людей, растопчут, словно глину, танки и они умрут где-то там, на сто первом километре. Я думаю, что Васькин отец повернется в последнюю минуту и побежит, вытянув винтовку со штыком прямо на стальной танк, хотя, может, такого никогда и не было. Васькин отец втыкает яростно штык в непробиваемую броню, и Штык от удара выбивает искру...

Я шагнул назад, еще не в силах оторвать глаза от фотографии, и перехватил Васькин взгляд. Он пристально разглядывал меня.

— Слышь, — сказал я Ваське, развязывая свой рюкзак, — слышь...

Волнуясь, я вытащил несколько консервных банок, которые дала мне в дорогу мама, свитер, чистые рубашки, а со дна достал пилотку. Я положил ее вчера первым делом: пилотку мне подарил отец, когда зимой лежал в госпитале. Звездочку он снял и прикрепил на ушанку, а пилотку подарил мне.

— Слышь, — повторил я, протягивая пилотку Ваське: — Держи, это тебе.

Васька взял пилотку, посмотрел, все поняв, на меня и, не улыбнувшись, не сказав ни слова, подошел к зеркалу. Он надел пилотку и опустил кулаки. Я глядел в зеркало на Васькино лицо и видел, как он шевелит желваками.

— А тебе идет, — сказал я, чтобы хоть что-нибудь сказать: я чувствовал — сейчас надо непременно говорить, лишь бы не молчать.

— Идет, — пробубнил Васька.

— Ну, айда на улицу! А то я и деревни-то не видал.

— Айда, — откликнулся Васька, поворачиваясь ко мне. Теперь он был в норме, и желваки у него не шевелились. — Мамку там подождем. Покормит она тебя, тогда на речку сбегает. Порыбалим.

— Как живешь? — спросил я Ваську, когда мы уселись на крыльце.

— «Как, как!» — ответил он недовольно. — Счетоводю... Разве это жизнь!

— А лошади? — спросил я.

— Лошади, — усмехнулся Васька, — на конюшне... Просился у председателя, да он и слушать не стал. А тут еще этот главбух, гад ползучий...

Васька умолк. Все было и так ясно. Главбух, этот лысый, с очками на носу, — гад ползучий, это действительно, это даже я с первого взгляда заметил. А председатель этого гада слушает и Ваську в конюхи не отпускает. «Но ведь он, наверное, прав, — подумал я про председателя, — зря, что ли, Васька целую зиму учился?»

Звякнула щеколда, пришла тетя Нюра. В руке она держала корзинку, в которой стояла бутылка молока, лежали яйца и помидоры.

— Ну-ка, ну-ка! — зашумела она радостно. — Мойте-ка руки да за стол.

Я мылся и хохотал, брызгаясь вокруг себя. Вода лилась у меня с локтей, заливала штаны, и все это — и плеск и мой смех — покрывал Васькин бас. Я смеялся над ручкомойником. Никогда не видел такого: на цепочке подвешена медная кастрюлька с носиком. Чтобы вода полилась, надо взять за носик и чуть наклонить. Но от моих прикосновений ручкомойник качался на цепочке, плескал воду, а Васька доливал его, хохоча надо мной.

Ему казалось смешным, что я не умею умываться из такого простого ручкомойника.

* * *

Наскоро поев, я вскочил из-за стола. Васька ждал меня на крыльце, смоля самокрутку. В руке он держал корзину.

— А где удочки? — спросил я.

— В нашей речке, — сказал Васька солидно, втапывая окурок в землю, корзиной ловят.

Я удивился, но приставать с расспросами не стал.

Мы быстро шли лесной, пружинистой тропой.

Речка открылась неожиданно. Просека раздвинула стены, лес перешел в высокие кусты, а за ними, среди зеленых берегов, извивалась узкая синяя полоса, шириной в три больших прыжка, не больше. В зеленой траве валялись какие-то малыши. Увидев нас, они загалдели, побежали навстречу, но вплотную не подошли, а остановились невдалеке.

Я разглядывал ребят, а они меня. Совсем маленькие были в рубашках, но без штанов, ковыряли в носу или с аппетитом жевали какую-то траву. Среди маленьких были ребята и постарше, с меня.

Эти глядели пытливо, даже задиристо, и, судя по их взглядам, им мешал только Васька. Так мы стояли, глядя друг на друга, я и эти ребята, а Васька будто не замечал их. Сняв рубашу и штаны, он остался в белых кальсонах, развязал тесемки, закатал подштанники повыше и удивленно взглянул на меня:

— Колька! Дак ты чо?

Я медленно, смущаясь пристальных взглядов зрителей, среди которых были и девчонки, разделся до трусов и спустился в воду. Речка была прозрачная и светлая, она тихо журчала, песчаное дно просвечивалось солнцем, и был виден каждый камушек. Васька стоял посреди речки, глядя на меня ожидающим взглядом. Я побрел к нему, как вдруг девчоночий голос сказал сверху:

— Вась, а это кто?

Я поднял голову. Прямо над нами, на берегу, стояла маленькая девчонка, класса так из первого, но верней всего, что она в школу еще и не ходила. Рыжие веснушки на ее лице так и налезали друг на дружку, словно им не хватало места. Выцветшее платьишко ее топорщилось. Я скользнул по девчонке равнодушным взглядом и вдруг почувствовал, как заливаюсь пунцовой краской. Девчонка стояла на берегу, прямо над нами, и я отвернулся, похолодев: под платьем у нее ничего не было.

— Гость мой, — отвечал Васька пигалице, поглядывая на нее и ничего не замечая.

— А как его звать?

— Николай, — терпеливо отвечал Васька.

— А он откель? Городской, что ли?

— Аха, — кивал Васька.

— Городско-ой! — протянула девчонка, глядя на меня, как на вымершего мамонта, и не собиралась уходить.

А я все краснел и краснел. Васька наконец взглянул на меня и, ничего не поняв, вопросительно сдвинул брови.

— Вась! — сказал я, покраснев, по-моему, до пяток. — Ну-ка, прогони ее.

Васька похлопал выцветшими ресницами, поглядел на девчонку, потом на меня, потом снова на девчонку и наконец сообразил.

Он схватился за живот и начал по-дурацки хрюкать. Это хрюканье перешло в дикий хохот. Васька шатался в воде, будто пьяный, хохотал и кричал девчонке:

— Маруська! Ой! Маруська! Отойди! Отойди!

Маруська догадалась, быстро присела, накрыв коленки платьем, глаза ее испуганно хлопали. Потом она вскочила и побежала. Голые Маруськины пятки так и мелькали в зеленой траве.

Мне стало жаль маленькую девчонку, а Васька орал ей вслед:

— Маруська! В другой раз знакомиться в штанах приходи! — и снова хохотал, просто закатывался.

Я думал, Васька прогонит девчонку незаметно, чтоб не поняли другие, а он, как дурак, орал и издевался, и получилось, что это я виноват и что это из-за меня убежала бедная Маруська.

— Хватит тебе! — сказал я недовольно. — Сам-то хорош!

В закатанных кальсонах Васька и правда был не больно-то привлекателен. Тем более что подштанники были ему велики и сползали.

Улыбка сразу исчезла с его лица.

— Ну, ну! — проворчал он недовольно, покрываясь румянцем. — Ишь какой выискался, в трусах. У нас тут все так ходят. И бабы и мужики.

— Ври больше! — отмахнулся я.

Васька почему-то смутился, спорить не стал. Он внимательно посмотрел на меня и ничего не ответил. Мы принялись рыбачить.

В общем, это оказалось нехитрое дело. Мы подходили к какой-нибудь зеленой кочке на дне речушки, осторожно ставили перед ней корзину, шуровали ногами в водорослях, а потом быстро выдергивали корзину. На дне билось несколько маленьких рыбешек с черными спинками.

Когда мы сделали первый заход, я взял одну рыбку в руки. Она разевала пасть, возле которой были два уса.

— Усач называется, — объяснил Васька, выкидывая рыбок на берег. Ребятишки ловили их и насаживали под жабры на тонкую ивовую ветку. — Его прямо так, с потрохами жарить можно. Да если еще яишной залить — пальчики оближешь.

Солнце, отражаясь в воде, слепило глаза. Увлечшись, мы бегали по речушке, пока не стало смеркаться.

* * *

— У-у, — улыбнулась тетя Нюра, приподняв рыбу, — да тут на две жарехи хватит!

В избе было тепло, под таганком в печке потрескивали сухие полешки, весело разбрызгивая искры.

Тетя Нюра кинула половину рыбы на шипящую сковородку и стала торопливо причесываться, поглядывая на себя в зеркало.

— Куда ты, мам? — спросил Васька.

— Аль забыл? — удивилась тетя Нюра. — А еще в конторе служишь... На нынешний вечер собрание назначено.

— Вот еловая башка! — стукнул себя по лбу Васька. — Вылетело! Давай тогда скорее поесть.

Тетя Нюра залила рыбу яичницей, ловко выметнула сковородку на стол, положила ложки.

— По такому случаю, — сказала она Ваське, тронув меня за плечо, можешь и не ходить.

— Но! — воскликнул Васька. — Не могу!

Как бы извиняясь, он добродушно оглядел меня и вдруг предложил:

— Айда с нами, Кольча!

Что за вопрос? Не догадайся Васька предложить, я бы сам напросился.

Наскоро доев рыбу, мы вышли на улицу. Небо густо посинело, солнце ушло за лес, и в летних сумерках было трудно разглядеть лица колхозников.

Народ сидел на лавках, расставленных вдоль улицы. На обочине вместо стола, покрытого кумачовой скатертью, как бывает на собраниях, стоял стул с графином, но без стакана. За стулом лежали бревна — на них располагался президиум.

Мы с Васькой подошли к лавкам, поискали свободные места сзади — там было все уже занято — и уселись в первый ряд. Нас заметили.

— Гляди-ко, — сказал чей-то женский голос, — мужиков-то прибыло!

И все засмеялись.

В президиуме, на бревнышках, сидели три дядьки. Одного я узнал сразу. Это был Васькин главбух Макарыч, второй ничем не привлек моего внимания, третий был без руки, в гимнастерке, рукав которой торчал из-под ремня.

— Председатель! — кивнул на него Васька и добавил уважительно: Терентий Иванович.

«Вот он какой, оказывается, — с интересом разглядывал я председателя. — А я думал, толстый и с красным носом. Ведь он его зимой отморозил».

На гимнастерке у председателя поблескивали ордена. Он тихо переговаривался с соседями — Макарычем и вторым, — поглядывал на лавки, заполнившиеся народом. Я обернулся и даже привстал, чтобы проверить себя. На лавках сидели одни женщины да еще несколько стариков. Один дед сидел сразу за мной. Был он обут в валенки, опирался на суковатую палку, и голова у него тряслась. На рубашке у деда висели две медали — я их узнал, такие же были у мамы: «За трудовое отличие» и «За победу над Германией». Рубашку дед по-старинному подпоясал тесемкой. «Ишь, — подумал я, — как на парад собрался. Нарядный. И медали надел».

В полумраке с бревен поднялся однорукий председатель и подошел к стулу с графином.

— Товарищи женщины, — сказал он, задумался, словно что-то забыл, и добавил: — И старики! — Председатель заправил пустой рукав поглубже за ремень. — Вот какое наше дело! — Он вздохнул и оглянулся на бревна. — А дело наше, скажу прямо, — решительно проговорил председатель, — хреновое. Как в обороне. Сидим, окопались, и сил не осталось. Наступить не с чем. Эмтээсовский комбайн опять сломался, и эти аньжанеры, которые только что с танка слезли, к стыду своему, справиться с ним не могут.

На лавках засмеялись, а Васька толкнул меня локтем.

— Руку-то, — шепнул он, кивая на председателя, — под Сталинградом похоронил.

Я вспомнил желтые, словно масляные, листочки с картинкой, где седая женщина показывала на слова «Родина-мать зовет!». Эти листочки, исписанные химическим карандашом, присылал нам

отец — сначала из-под Москвы, а потом, после госпиталя, из-под Сталинграда. «Вот как повезло нам, — подумал я. У этого председателя руку под Сталинградом оторвало, а под Москвой у Васьки отец погиб. Мой же отец воевал и там, и там, а остался жив, только ранило его. А могло бы... могло...».

Я повернулся к Ваське, шепнул ему, что подумал.

— Счастливый ты, — ответил Васька и вздохнул.

— Видите, товарищи, — продолжал негромко Терентий Иванович, — война кончилась, а я вам пока ничего хорошего сказать не могу, кроме одного: опять на вас вся надежда. В будущий год или нынче в осень, — он обернулся на главбуха, — может, купим свой трактор, заволакуем от района — пусть штаны с меня снимают.

Дед за моей спиной крикнул с натугой: «Правильно!» — и все засмеялись, потому что непонятно дед выразился, что правильно: или трактор заволакувать, или штаны с председателя снять.

Терентий Иванович потрянул головой, поднял руку.

— Но это еще в будущем году, — сказал он. — До него дожить надо. Пока же вся сила в вас, в ваших руках и мозолях. И надеяться нам не на кого.

Терентий Иванович взял рукой графин, попил прямо из горлышка. В рядах вздохнули.

— Да, товарищи бабы, вернее — женщины! Война кончилась, но надеяться нам пока не на кого. И нельзя нам надеяться, поймите сами. Вот был я в Сталинграде, воевал там, вы знаете. Что от города осталось? Одни развалины. Дай бог, один целый дом устоял, а так все подчистую!.. Не знаю, как, — нерешительно добавил председатель, — разгрести будут. Наверное, чтоб только землю выровнять для новых домов, еще не год потребуется.

Он помолчал, зорко вглядываясь в темноту.

— Это один Сталинград, а ведь таких городов сколько порушено! Сколько деревень пожгли, гады, мостов, заводов! Так как же мы, товарищи бабы, можем с вами требовать помощи от государства? Наоборот, — он причесал пятерней волосы, — наоборот, мы государству должны помочь!

Тишина стояла на улице, никто ни слова не сказал, не вздохнул. Даже деревья не шелестели, словно и они внимательно слушали речь председателя.

Председатель шагнул вперед, подвинул стул. Графин, тихо звякнув, упал в траву, и стало слышно, как льется из него вода. Но Терентий Иванович ничего не заметил. Он шагнул вперед и сказал с таким жаром, что голос у него дрогнул:

— Поэтому я прошу... — он передохнул, — прошу вас, товарищи женщины, дорогие наши жены, матери и сестры, прошу вас, наши отцы и деды, завтра всех, кто только стоит на ногах, подсобить колхозу.

У меня по коже даже мурашки поползли, так он это сказал.

— Я не приказываю, — говорил председатель, — а прошу...

Он замолчал, а снова заговорил уже вполголоса. Но его слышали все.

— Опять звонили из района, — оказал председатель устало. — Мы должны сдать хлеба не по плану, а вдвое больше, оставив только на семена и самую малость на трудодни. Трудодень, говорю заранее, будет бедный, и зимовать придется тяжело. — И он вдруг проговорил со злобой: — Был бы последним подлецом, если бы сказал вам сейчас неправду. Если бы обнадежил, а потом обманул. Обманывать мне некого.

Терентий Иванович отошел к бревнам и закурил. Огонек самокрутки дрожал в его руке.

— И еще я хочу сказать, — произнес председатель, — чтобы вы, товарищи женщины, старики и ребята... — Он помолчал, будто не знал, что сказать дальше. — Чтобы вы простили нас, мужиков. Простили нас за то, что мы обещали вам вернуться, а слова своего не сдержали или вернулись вот такие! — Он со злостью хлопнул себя по пустому рукаву.

— Не томи душу, Терентий! — крикнул сдавленный женский голос.

И снова стало тихо.

— Простите нас за это, — проговорил председатель и вдруг низко, в пояс, поклонился собранию.

В горле у меня запершило.

— В каждую деревню, — сказал тихо Терентий Иванович, — не вернулись солдаты, но у нашей Васильевки особый счет к фашистам. — Он сипло дышал, стараясь успокоиться. — Но у нас особый счет и к Родине. Мы ей должны за себя и за ваших мужей. Мы должны работать так, чтобы никто не почувствовал, что только шестеро мужчин вернулись в Васильевку с войны. Все должны знать: солдаты — и мертвые и живые — вернулись! Вернулись с победой!

Председатель рубанул единственной своей рукой воздух, словно поставил точку, и сел на бревна.

На улице было тихо, никто не шевельнулся. Только комары звенели в синем воздухе. Деревня будто онемела.

Терентий Иванович сидел на бревнах серой тенью, лицо его изредка освещалось огнем самокрутки, он понурился, будто никакого собрания тут нет, а сидит он один и думает о чем-то. Я подумал, что председатель так и будет сидеть тут, так и не заметит, как разойдутся с собрания люди, и, может, просидит на бревнах, задумавшись, до утра, но Терентий Иванович сказал медленно, как бы раздумывая, и сказал это не собранию, а кому-то одному, своему товарищу.

— Вот что, женщины, — сказал он, — свезти бы нам со всего света из-под Сталинграда, из-под Курска, из-под Ленинграда, из-под Берлина наших солдат да положить бы их в одной могиле на околице деревни. Только это, пожалуй, невозможно. Но зато возможно, я думаю, поставить памятник погибшим солдатам. Чтобы каждый, кто приходит и приезжает к нам, мог поклониться им. Когда-нибудь поставим мы нашим бойцам настоящий памятник, но ждать богатых времен, думаю, не дело. Давайте-ка срубим пока простой памятник, простую пирамиду из дерева и напишем на ней имена всех павших мужиков. Вот ты, Трифон Ильич, — кивнул председатель старику с медалями, ты, Марья Ивановна, ты, Кузьма Трофимович, старые люди. Вы свое отработали, толку в поле от вас будет мало. Приходите завтра на околицу и я с вами, однорукий, — попробуем сколотить этот памятник. А вы, женщины, — сказал он, поворачивая медленно голову, как бы оглядывая каждую колхозницу, — а вы, работая в поле, думайте об этом памятнике. — Он помолчал и прибавил, гася самокрутку: — Так и будет. Собрание закрыто. Все.

* * *

Я проснулся и ничего не понял. Вокруг меня были какие-то холмы, а сверху падала стена.

Мгновение я лежал оцепенелый, но пригляделся, облегченно вздохнул и засмеялся: сверху ничего не падало — это была крыша. Солнечные лучи просачивались сквозь щели, струились вниз, словно лучи маленьких прожекторов, и оставляли на холмах сена желтые полосы и пятна. Я глубоко вздохнул и шевельнулся. Сено весело зашуршало; оно пахло ветром и ромашкой.

Я потянулся. Тело было легким и сильным.

— Васька! — шепнул я.

Никто не откликнулся. «Вот дрыхнет, — подумал я, — богатырь Илья Муромец», — и вскочил на ноги. Рядом лежало распластанное одеяло, но никого не было. Я стал, крадучись, спускаться по скрипучей лестнице вниз. Васька, наверное, еще в ограде, как он выражается, и тут я на него налечу. Я переступал тихо, осторожно, чтобы не скрипнула незнакомая лестница, и вдруг что-то мокрое и шершавое лизнуло меня в пятку. Тут же раздался хриплый рев. Я обомлел и повернулся. На меня глядел черными, выпуклыми глазами добродушный теленок, взмахивая тонким, как веревочка, хвостом, и мычал.

Я сел на лестницу и засмеялся, а теленок снова стал лизать мою пятку, и мне теперь было ужасно щекотно. Я заливался изо всех сил. Все равно Васька, если он дома, уже меня услышал.

Но никто на лестницу не заглядывал, и я вошел в дом.

Возле окошка сидела бабка и перебирала грибы.

— Здравсьте! — сказал я, оглядываясь. Но Васьки и тут не было. — А где Василий?

— Должно, в конторе, — ответила бабка скрипучим голосом, — а может, на конюшне. Шибко любит там околачиваться.

— А тетя Нюра? — спросил я.

— На жатве, соколик, — спокойно отвечала бабка. — Накормить тебя велела. На-ко, садись...

Она поднялась, подошла к печке, загремела там чем-то и вытащила, согнувшись, на стол сковородку с жареными усачами.

«Нарочно оставили», — думал я, улыбаясь, о тете Нюре, о Ваське, об этой коричневой, высохшей бабке.

— А грибы откуда? — спросил я бабку, с аппетитом жуя хрупких усачей.

— Из лесу, соколик, — ответила она, — вестимо, из лесу, откель еще? Вот утречком сбегала, набрала на грибовницу.

Я снова почувствовал себя виноватым: соня-засоня, вон даже бабка дряхлая и та тебя обставила, уже грибов принесла.

Ложкой я разделил сковородку на четыре части, четверть усачей съел, остальное оставил и пошел искать Ваську.

В конторе его не было.

— Где твой остолоп? — спросил меня Макарыч и усмехнулся. — Пропал? Он достал из угла большой треугольник. — Иди-ка вот на конюшню! — велел он мне сердито. — Отдай ему эту штуку и скажи, чтоб обмерил жнивье у Белой Гривы. Понял?

Я кивнул.

— Да скажи, чтоб мигом обернулся! — крикнул мне вслед Макарыч.

Я шагал по улице, разглядывая штуквину, которую дал мне главбух. Нет, это все-таки не треугольник. Скорее на циркуль похоже. Две палки с перекладиной, а сверху одна палка длинней, вроде как ручка. Я взялся за нее и стал перекидывать циркуль с ноги на ногу — получалось быстро и удобно.

Ни бабка, ни Макарыч не ошиблись: Васька возле конюшни запрягал лошадь.

— Здорово, засоня! — сказал он, увидев меня. Вид у Васьки был деловой: к губе прилипла самокрутка, и он хмурил от дыма глаза, сосредоточенно морщил лоб. — Помнишь, ты мне в городе говорил, умею ли я запрягать. Гляди! Учись! Вот это постромки, вот это гуж, вот узда, а вожжи вот сюда заходят.

Я глядел на это сплетенье ремешков и ремней, толком ничего не понимая, и любовался Васькой. Даже в самые вдохновенные минуты, когда на своих счетоводских курсах он в уме умножал тысячи и делил миллионы, я не видел на его лице такого наслаждения. Сейчас Васька причмокивал, хлопал коня по спине, трепал морду, чего-то бормотал. Глаза его поблескивали, и, хотя он старался не улыбаться, видно было, что сдерживается Васька через силу.

— Ну а как же работа, — спросил я Ваську не без ехидства, — по счетоводной части?

Он усмехнулся:

— Словил тебя, значит, Макарыч? И что велел?

Я передал Ваське руководящее указание главбуха.

— Ну вот! — горестно сказал он вдруг. — Коня пахать запрягаю, а сам с этим дрыном ходи! — он кивнул на циркуль.

Из-за конюшни вышли спиной к нам две тетки. Они тащили что-то тяжелое. Васька подбежал к ним. Крякнув, они взвалили на телегу плуг, сверкнувший на солнце отточенным лезвием.

— Ну все, кажись, Матвеевна? — спросила одна.

Она была худая, с вытянутым, как у лошади, лицом и костлявыми руками. Юбка и кофта, серые, заношенные, висели на ней, будто занавески, складками.

— Все, — ответила вторая, тоже пожилая, но покруглее и почернявее. Спасибо тебе, Василей, подмог пахальницам, и на том ладно.

— Погодите, бабы, — сказал Васька, отнимая у меня циркуль и укладывая его на телегу. — Мы с вами! Макарыч велел ваш клин замерить.

— Чтоб его черти съели, этого Макарыча! — ругнулась Матвеевна. — Все ему вымерять надо, будто кто недопашет, будто кто недосеет!

Тетки уселись на телегу и тронули лошадь. Она не спеша развернулась и понуро побрела в гору.

Я беспокойно глядел, как телега обгоняет нас, но Васька не торопился садиться.

— Отстанем ведь, — сказал я.

— Да нет, — ответил Васька, — они нас у дома подождут. Мне еще корзину прихватить надо. Лошади в гору тяжело — ей пахать придется. С неделю, поди-ка, без передыху.

Действительно, телега ждала у Васькиного дома. Он побежал в ограду, вышел с корзиной, и мы отправились дальше. Только когда дорога шла под уклон, Васька вскакивал на телегу, помогая забраться и мне. Лошадь по такой дороге бежала прытко, но когда начинался подъем, мы слезали снова.

В одном месте шел длинный пологий спуск, и мы надолго подсели к теткам. Плуг сухо постукивал о телегу.

Всю дорогу мы не проронили ни слова — ни женщины, ни мы с Васькой, словно ехали на похороны. Даже лошадь никто не понукал, не кричал на нее, не чмокал. Она шла сама — когда быстрее, когда тише, и я подумал, что не один Васька, значит, жалеет лошадей, и не зря, выходит, жалеет.

— Вась, говорят, мать-то твоя молока в городе много наторговала? опросила вдруг худая тетка.

— Наторговала, — ответил Васька сухо.

— А в район-то она все ездит? — спросила худая.

— Ездит, — ответил Васька.

Они помолчали.

— Все про отца спрашивают? — сказала Матвеевна.

— Аха, — ответил Васька, — про отца.

— Охо-хо! — вздохнула худая. — Нюре хоть спросить-то есть кого, а нам и этого нету.

Колеса постукивали по пыльной дороге.

— Вась, — сказала Матвеевна, — это тот инвалид-то в сапожной стучит?

— Он, — кивнул Васька.

— Без обеих вить ног, без обеих... — вздохнула худая и как-то странно поглядела на Ваську.

— Где их возьмешь теперь, — тоскливо сказала Матвеевна, — с руками-то чтоб да с ногами. — Она помолчала и опять вздохнула. — Ох, дождемся ли, старенька, когда мужики-то за плугом пойдут, а?

Они рассмеялись.

— Вась! — спросила худая, кивнув на Васькину пилотку. Он как надел ее вчера перед зеркалом, так, кажется, и не снимал. Даже рыбачил в ней. — А откель обнова-то?

Васька долго не отвечал, словно задумался, потом сказал:

— Вон его отца.

— Живой? — спросила меня Матвеевна.

— Живой, — ответил я. — Скоро приедет.

— Охо-хо! — вздохнула худая. — Все же есть хоть счастливые.

— И слава богу! — вскинулся вдруг Васька, словно защищая меня.

— Конечно, конечно, — ответила худая, оборачиваясь к Ваське. — А ты чо, соколик, думаешь, я позавидовала? — Она вздохнула. — А и то позавидовала... Только, дай бог, чтобы все отцы к вам вернулись.

Все опять надолго замолчали. Цокали копыта. Наконец Васька показал мне на белую каменную осыпь. Это и была Белая Грива.

Внизу, под осыпью, и справа и слева растекалось сжатое поле. Васька торопливо распряг коня, вместе с женщинами зацепил плуг.

— Ну чо, — сказала худая, — давай, Матвеевна, благословясь, я первая, опосля ты.

Худая ухватила за ручки плуга. Матвеевна взяла лошадь под уздцы и, напрягаясь, все втроем — и лошадь, и женщины — отвалили жирный, блестящий на солнце пласт земли.

Васька хмуро глядел вслед теткам, а они уходили все дальше, вдоль длинного поля.

— Я обмерю, — сказал мне Васька, — а ты клевера в корзину набери. Вишь, цветочки?

— Кашку? — спросил я.

— Кашку, кашку, — ответил, не оборачиваясь, Васька.

Он шагал по сжатому полю, и ветер пузырем надувал его зеленую рубашку. Ту самую, в которой Васька приехал тогда в город.

Он шел размашистым шагом и всеми ухватками — тем, как он двигался, как ловко поворачивал циркуль, как говорил перед этим, — был похож на взрослого.

* * *

Жужжали полосатые шмели, трепетали крыльями стрекозы, то повисая на месте, то срываясь стремительно вбок. Я обрывал тонкие сиреневые цветочки от клеверной головки и сосал сладкий сок, развалиясь в траве. Мне было хорошо и радостно, пока мой взгляд не нашел в бесконечном черно-желтом поле напряженную, понурую лошадь и двух женщин. Мне стало совестно, я вскочил, торопливо обрывая кашку.

Когда корзина наполнилась и я подошел к телеге, Васька уже вернулся и вбивал топором в землю какие-то палки.

— На нож, — сказал он мне, — срезай ветки подлиннее. — Лицо его было напряженным и хмурым. — Надо сделать шалаш. Им тут неделю ишачить.

Тетки проходили мимо нас. Теперь они поменялись местами, но уже совсем вымотались. А прошли всего рядов пять-шесть в бесконечном поле.

— Двенадцать га! — сказал зло Васька. — Эх, хухры-мухры, трактору бы тут на один день! — Он плюнул и яростно заколотил топором.

Васькина злость передалась мне. Срезая ветки, я с силой, зло нажимал ножом, будто дрался с противником. Пот полз мне в глаза, но я даже не вытирал его, а только сдувал.

Шалаш получился на славу! Васька напихал туда сена, кинул два одеяла с телеги и вздохнул, посмотрев на теток: они сделали еще три хода вдоль поля.

Напротив нас тетки остановились.

— Васька! — крикнула одна. — Водицы подтащи-ка!

Васька схватил ведро, исчез за кустами, а когда появился, через край ведра переплескивалась вода.

«Тут, значит, и ручей есть», — подумал я и подошел вслед за Васькой к женщинам.

— Матвеевна, — сказал Васька, поднимая ведро, — вы ну-ка отдохните, а мы с Кольчей попашем.

Я думал, Матвеевна скажет: «Ну куда вам!», — откажет просто-напросто, но она молча кивнула головой. Пот струился с нее ручьями, а худая посерела от натуги, и большие глаза ее, кажется, стали еще больше.

Тетки полили и пошли к шалашу. Васька поил лошадь.

— Но, но, — ласково приговаривал он, то поднося ей ведро, то отнимая. — Не торопись, зайдешься! Погоди, золотко! — Прямо как с человеком разговаривал.

Потом я вел лошадь под уздцы, как показал мне Васька, а сам он держал плуг. Напившись и передохнув, лошадь шла веселее, бойко пофыркивала, и наш ряд получался ничем не хуже соседних. Мне не терпелось обернуться, поглядеть на Ваську, а еще больше не терпелось попросить его дать попахать мне. Но лошадь шагала, я должен был внимательно смотреть вперед.

Наконец Васька пробасил: «Тпрр-ру!» — и лошадь послушно стала, натруженно дыша.

— Васька! — потребовал я. — Теперь моя очередь!

Он усмехнулся, недоверчиво поглядел на меня, но кивнул.

Я взялся за скользкие ручки плуга, Васька чмокнул, и лошадь двинулась.

Лошадь сама тащила плуг, а я только должен был ровнять ряд, но это получалось нелегко.

— Налегай! — крикнул мне Васька. — Глубже паши!

Я послушно налег, прошел несколько метров и вдруг почувствовал, как налились тяжестью руки. Когда я вел лошадь под узду, идти было легко по твердому полю, теперь же я шел по паханой

мягкой земле, ноги проваливались и деревенели. Пот застилал мне глаза, я уже не наваливался, чтобы борозда выходила глубже, я просто держался за плуг, а лошадь и Васька и эта железная штуковина с острым ножом тащили меня за собой, как на прицепе.

— Ну вот, — сказал Васька, останавливая коня.

Я с трудом разжал онемевшие руки и отшатнулся от плуга. В голове гулко стучала кровь, пот капал с подбородка. Я утерся рукавом, едва дыша.

Мне было стыдно за свою немощь. Я думал, Васька меня крепко обругает, но он неожиданно похвалил:

— Молодец, Кольча!

Мы поменялись местами и пошли дальше. Васькина похвала меня успокоила, приободрила. «Да нет, — подумал я, — не так уж и плохо для первого раза. Вот кабы я все время в деревне жил, выходило бы не хуже Васькиного».

Я посмотрел вокруг себя еще раз, мысленно обмерил поле. Ему, казалось, не было конца и края.

Лошадь стала, тяжело поводя боками, тетки подошли к нам.

— Ну, мужики, — сказала, посмеиваясь, худая, — уважили, спасибо. А теперь идите.

— Макарыч-то тебе задаст, — сказала Матвеевна, глядя на Ваську.

— Ну его! — пробубнил он, утирая пот.

Матвеевна чмокнула на лошадь, та нехотя двинулась вперед, а мы с Васькой пошли в деревню.

Дорога вела в гору, и понурая лошадь да две фигурки возле нее долго были видны нам.

Мы молча оборачивались, молча вглядывались в них и молча шли дальше...

* * *

— Николка, — прервал молчание Васька, — батя-то не пишет, когда вернется?

— Никак не отпускают, — ответил я.

— Отпустят! — вздохнул Васька. — Скоро всех солдат отпустят! — И усмехнулся: — наших вон всех отпустили.

— Как? — удивился я. — Уже всех?

Но как-то странно сказал это Васька.

— А у нас и возвращаться-то всего шестерым пришлось, — ответил Васька. — Двое сразу в энтээс подались. Один без ноги, милиционером работает. Дядю Терентия председателем выбрали. Да двое еще бригадирят.

— И все? — спросил я, не подумав.

— И все, — ответил Васька спокойно, но я уже вспомнил, как говорил вчера председатель про счет фашистам.

Я остановился.

— Шестеро? — спросил я испуганно. — А сколько же на войну уходило?

— Мужиков шестьдесят, — ответил Васька. — Это сразу, как войну объявили. Да потом еще парней забирали, кто подрастал. Душ семьдесят.

Мы остановились на вершине холма и в последний раз обернулись на двух теток и коня.

— Кабы хоть половина, — сказал задумчиво Васька.

Он вздохнул и резко отвернулся. Мы пошли торопливо, чуть не бегом.

— А вот ежели, — спросил, не глядя на меня, Васька, — отец бы твой не вернулся? Ну, погиб. А мать бы твоя нового отца привела?

— Как это — нового? — пожал я плечами. — Отец один, другого не бывает...

— Ну ладно, — перебил меня Васька, — снова бы замуж вышла! Не понимаешь, что ли? Чо бы ты делать стал?

Он говорил зло, раздраженно, и я удивился: что это с ним?

— Что делать, что делать? Не остался бы дома! Сбежал!

— Куда? — недоверчиво засмеялся Васька, будто это его касалось.

— В ремеслуху, например, — ответил я, — или в детдом. Соврал бы, что у меня никого нет.

— В детдом! — зло воскликнул Васька.

— Да ты чо ерунду-то мелешь? — удивился я. — Ежели да кабы, то во рту росли грибы!

— Это я так, — оказал он, криво усмехаясь, — вообще...

Чтоб сократить путь, Васька свернул с дороги, и мы пошли тропой через густо заросшее поле. Васька наклонился на ходу, сорвал что-то, остановился. В руках у него был стручок. Он размял его и высыпал на ладонь желтые горошины.

— Переспел уже, — сказал Васька, — а убирать некому, — и отправил горошины в рот, аппетитно зачавкав.

— Горох, что ли? — спросил я и, обрадовавшись, начал рвать стручки.

— Ты это чо, ты чо? — воскликнул Васька.

— Горох рву, — ответил я удивленно. — Не видишь?

— Нельзя же, дурень, — сказал он. — Горох колхозный, увидят, еще засудить могут.

— Засудить! — усмехнулся я. — Как это — засудить?

— А так, — ответил Васька нерешительно, — за хищение колхозного имущества. Ну да ладно, — сказал он, вздыхая, — только по одному карману наломаем, понял? По карману, не больше.

То ли давно мы не ели, то ли просто горох оказался вкусный, но за ушами у нас аж пищало.

— Ты это, — сказал мне смущенно Васька, — стручки-то пустые подальше в сторону кидай, а то увидят.

— Ну, и увидят? — засмеялся я.

— Увидят — другие нарвут, — сказал Васька. — А если каждый по карману наломает, какой убыток, как думаешь?

Я пожал плечами, но пустые стручки стал бросать подальше от тропки.

— Меня до войны, — улыбаясь, сказал Васька, — знаешь как отец ремнем выдрал! Вот так же надергал я полную пазуху гороху, прибег домой, на стол вывалил, улыбаюсь, — мол, глядите, добытчик, в дом гороху принес. А отец снял ремень с гвоздя и так меня отходил! Пискун, говорит, ты голобрюхий, и откуда, говорит, в тебе кулак взялся! Я тогда-то не понял, что за кулак, уж потом, в школе, объяснили. Но как отец порол, помню. И как кулаком обозвал — тоже...

Васька улыбался, словно отцовская порка ему теперь в удовольствие казалась. Потом сразу нахмурился. Мы стояли перед конторой.

— Айда! — позвал меня Васька к себе на работу. — Посидишь, поглядишь.

Мы вошли в избу.

— Тебя за смертью посылать! — прогнусавил из-за своей конторки Макарыч. — Сводку обчислать надо, в район передать, а тебя носит, лешак подери!

Васька промолчал, выразительно посмотрев на меня: мол, видишь.

— На столе бумаги, давай считай скорее, — велел Макарыч, — потом поговорим, при Терентии.

Васька тоскливо зашелестел бумагами, подвинул к себе счеты, начал громыхать костяшками, Макарыч скрипел ржавым, что ли, пером. Я оглядывал контору — ряд старых стульев, портрет и забавный телефон на стене, похожий на скворечник, только с ручкой.

Васька дал длинную очередь на счетах, потом задумался, поглядел на меня, перевел взгляд за окошко и машинально вытащил из кармана несколько стручков. «Шляпа! — подумал я. — Сам наказывал пустые стручки подальше кидать, чтоб никто не заметил, а тут вдруг вытаскивает». Едва я подумал это, как Макарыч спросил Ваську безразличным голосом:

— От Белой-то Гривы пешком шли?

— Аха! — безмятежно ответил Васька.

— Через поле? — лениво говорил главбух.

— Аха, — отвечал Васька.

— А горох оттуда? Колхозный?

Васька побледнел, прикрыл было ладонью несколько стручков, лежавших на столе, и резко повернулся к своему начальнику.

Глаза у Васьки сузились в щелки, а Макарыч шел к нему, медленно, не спеша шагал через комнату, сдвинув очки на кончик носа.

— Ну-кась, — сказал он неторопливо, — выворачивай.

Васька послушно вывернул пустой карман. Видно, эти стручки были последними.

— Колхозный горох-от? — наступал Макарыч. — Аль со своего огорода? Васька заливался краской. — Да нет, со своего не может быть, домой не заходили — вон и корзинку с клевером занести не успели. — Васька краснел, но молчал. Тогда Макарыч указал на меня пальцем: — И гостя своо воровать учишь? — Ваську уже всего трясло. — Ну-ка, милочек, — направился ко мне главбух, — выверни карманы.

У Васьки оставалось три стручка, а у меня карман был почти полный: я просто не поспевал за Васькой, он как-то быстро доставал горошины из сухих оболочек. Но вывернуть карман — значило доказать этому курносому бухгалтеру, что все, что он говорит, правда и мы с Васькой украли горох.

С меня спрос невелик, я как приехал, так и уеду, а что про Ваську говорить станут? Я вспомнил, как он отговаривал меня рвать этот горох, как рассказывал про отца.

Нет! Вывернуть карман — значило предать Ваську. Никакой Васька не вор. Я шагнул навстречу главбуху. Сейчас я ему скажу, что Васька не виноват, что это я. Только спокойно. Спокойно! Неожиданная мысль кольнула меня. Но ведь ясно же, что мы были вдвоем. Скажут: «Васька, а ты куда смотрел?!» Скажут: «Раз ты там был, значит, тоже виноват, значит, вы вместе!»

Я уже открыл рот, чтобы взять всю вину на себя, и в последнюю секунду — буквально в последнюю — сказал другое:

— А вы, товарищ главный бухгалтер, зря горячитесь. Да, у меня полкармана гороху. Но мы этот горох взяли из дому еще с утра.

Макарыч отступил и поддернул очки к глазам. Никак он не ждал такого. Да и я-то, честно сказать, не ждал.

Он ушел к своей конторке, сел и сказал оттуда:

— А мы это проверим.

— Проверяйте! — сказал я безразлично.

Вот за это-то я мог поручиться: никто нас с Васькой в колхозном горохе не видел.

* * *

— Вообще-то ты молодец, — сказал, вздохнув, Васька, когда пересчитав все, что требовал Макарыч, он освободился и мы вышли на улицу. — Только если ему вожжа под хвост попадет, худо будет. Дома-то мы нынче гороху не сеяли, вынюхает, под суд подведет, паразит.

— Да неужто, — возмутился я, — за два кармана гороху?..

— Вот тебе и «неужто»! Порядок такой есть: пригоршню возьмешь — и то посадить могут. По законам военного времени.

— Так война-то кончилась! — удивился я.

— Война-то кончилась, а законы остались.

Я вздохнул. Нет, что-то тут не так, несправедливость какая-то. Ладно, я здесь чужой, меня, может, и надо судить за карман гороху, но Васька-то, Васька — тутошний, колхозный. Он же не только считает, он и коней запрягает, и пахал сегодня, хотя его никто не просил. Неужто же ему за это кармана гороху жалко?

Мы сидели на завалинке. Васька, хмурясь, дымил сигаркой. Вдруг он напрягся, прислушался.

— Машина идет, — объявил Васька и, помолчав, прибавил: — Не эмтээсовская.

— Как это ты узнал? — спросил я, прислушиваясь к далекому тарахтению.

— По мотору, — ответил Васька. — К нам тут одна машина ходит, за молоком, а эта — другая.

Рокот мотора усилился, и через несколько минут, заслонив улицу пылью, прямо у конторы затормозила газогенераторка с фанерным фургоном вместо кузова.

Из кабинки выскочил щуплый старик шофер, за ним вышла большая, пухлая тетка.

— Примай подмогу! — крикнул весело старик и распахнул у фургона заднюю дверцу.

— Хе, подмога! — проворчал недовольно Васька. — Стрижем-бреем да гуталином торгуем.

Из черного нутра фургона, кряхтя, сползла короткая седая старуха, ростом меньше меня, затем втроем — старуха, старик шофер и пухлая тетка стали вытаскивать из фургона еще что-то, тяжелое и неудобное.

Когда они расступились, я опешил. На тележке с шарикоподшипниковыми колесиками сидел безногий дядька в офицерской фуражке. В одной руке он держал некрашенный фанерный чемоданчик.

Безногий оглядывался вокруг, говорил что-то теткам и старику шоферу, потом сильно оттолкнулся свободной рукой и поехал к нам.

— Здорово, хлопчики! — крикнул он издали. — Не найдете ли гвоздика подлиннее, ногу вот свою хочу подковать.

Дядька, улыбаясь, подъехал к нам.

— Вот было две ноги, — сказал он, останавливаясь, — а стало четыре. Раньше двух было много, а теперь на трех не уедешь. — Он пошатал одно колесо, норовившее отвалиться.

— Аха! — сказал Васька, поднимаясь и обходя инвалида. — Счас, дядя!

Мы быстро пошли к Васькиному дому, почти побежали.

— Это он, — сказал Васька, — помнишь? Вместе с отцом воевал!

Я вспомнил, как дома, в городе, рассказывал Васька про отца и про инвалида, который один остался живой.

— Ты иди назад, — спохватился Васька, когда мы уже подошли к дому, подсоби ему устроиться, я сейчас...

Я вернулся к конторе.

Инвалид, отцепив коляску, уже сидел на лавочке у правления и разглядывал подшипник.

— Ну, где гвоздь? — спросил он, увидев меня.

— Сейчас, — ответил я. — Васька несет.

— Ну, ну, — проговорил инвалид, откладывая коляску и открывая фанерный чемодан. Там лежал сапожницкий инструмент — молотки, мелкие гвоздики, дратва, железная лапа, на которой подбивают обувь. — А то, вишь, у меня мелочь. — Он взял щепотку гвоздиков, высыпал их обратно, словно посеял.

Я внимательно разглядывал инвалида. У него было красивое, чуть скуластое лицо в редких крапинках веснушек, крепкие, мускулистые руки, покрытые густыми волосами, и вообще, если закрыть ноги, он ничем не походил на инвалида, на тяжелораненого.

И у мамы в госпитале, и в городе, на улицах, я видел других инвалидов. В госпитале, понятное дело, люди лежали после операций, и лица у них были больные, изможденные, усталые, и мне их было жалко. В городе мне почему-то часто попадались совсем другие инвалиды — пьяные. Они громко говорили между собой, пересыпая слова тяжелой бранью, стучали костылями по земле, доказывая что-то друг другу. Этих инвалидов я боялся и обходил их стороной, а моя бабушка называла их психами и говорила, что это они нарочно куражатся, чтобы показать себя. Ясно, я встречал и других инвалидов — спокойных, стоящих в очередях, хотя инвалидам полагалось получать продукты без очереди. У меня щемило сердце, хотелось, чтобы люди, ни слова не говоря, расступились и пропустили безрукого инвалида к прилавку.

Этот же безногий не вызывал у меня даже жалости. Он вертел свою тачку на шарикоподшипниках, жмурился на солнышко, вытирал тыльной стороной ладони пот со лба и, казалось, совсем не чувствовал, что у него нет обеих ног.

— А ты, видать, нездешний? — сказал он, приглядываясь ко мне и приветливо улыбаясь. — Подика, из города?

Я кивнул.

— Это Васька-то нынче не у тебя зимовал?

Я кивнул снова, удивляясь, откуда он все знает.

Инвалид пристально посмотрел на меня, перестал улыбаться и вдруг спросил:

— Хороший парень Васька?

Я хмыкнул: мол, само собой.

— Да... — вздохнул безногий и задумался. — Да, — повторил он после долгой паузы, — хороший он парень, Васька...

Я вдруг заметил, как инвалид покраснел и глаза его насторожились.

Я обернулся. За моей спиной стоял Васька и протягивал гвоздь. Рядом с ним была тетя Нюра.

— Здравствуйте, Семен Андреевич, — сказала она, теребя кончик платка. — С приездом вас.

— Здравствуй, Нюра, — ответил инвалид, и щеки его опять порозовели.

«Может, — подумал я, — ему стыдно перед тетей Нюрой, что Васькин отец погиб, а он вот живой остался?»

* * *

Возле фургона стал собираться народ.

Инвалиду приносили рваные ботинки, сапоги, калоши — запахло резиновым клеем, застучал молоток. Тетка, сидевшая в кабинке вместе со стариком шофером, приставила к изгороди табурет, натянула белый халат и стала подстригать деда в валенках.

— Бороду-то не трожь, — шумел дед, — а голову давай начисто! Жди вас, когда еще нагрнете!

Тетка жужжала машинкой, трещала ножницами, кружилась, как наседка, возле деда, который так и не снял с рубахи свои медали. Он сидел в гордой и торжественной позе, боялся шевельнуться под острыми ножницами и был похож на важную статую.

Но шумней всего было у фургона. Коротенькая старуха, не пригибаясь из-за своего малого роста, свободно ходила внутри сумрачного ящика и вызывала общее неудовольствие.

— Ну чо я вам, бабы, рожу, что ли, — кричала она, — когда ни мыла, и ни иголок, ни ниток нету. Вот рулон бязи дали, и то радуйтесь!

Она отрезала кому-то куски материи, тщательно прикладывая деревянный метр, а в оплату, у кого не было денег, принимала яйца.

— Мыла опять нет! — шумели внизу женщины. — Хоть бы жидкого привезли!

Старуха в автолавке суетилась, предлагала вместо мыла саржевые платки и книги, ее ругали почем зря, но и платки и книги в обмен на яйца все же брали.

Мы с Васькой поглядели на сапожника, повернулись возле парикмахерши и фургона и пошли к дому. Васька был мрачен, и я подумал, что у него, наверное, не выходит из головы этот горох.

— Брось ты, — сказал я ему, — если будет Макарыч приставать, говори, что это я горох рвал. А тебе просто дал немного. Меня небось не засудят.

— Ишь ты, — усмехнулся Васька весело, — рыцарь из городу приехал. — И вдруг предложил: — Давай к отцу ходим.

— Как это? — спросил я недоверчиво. — Как это — ходим?

Мы вошли во двор, из-под дверцы сарайки Васька выскреб ключик, открыл замок.

В темноте, на гвоздях, висела лошадиная сбруя — какие-то веревки, ремни и цепи, а у окошка, за планками, возле маленького столика поблескивал инструмент.

Васька уселся на чурбан перед столиком, стал вытаскивать из-под рейки стамески разных размеров, долота, плоскогубцы и кусачки, вытирая их от пыли концом рукава.

— Отцовское, — сказал он тоскливо. — Тут у него мастерская была. Глянь!

Васька выдвинул ящик стола. Ровными рядами, аккуратно уложенные, там лежали фуганки, рубанки — большие и малые, набор молотков. Сбоку к столику намертво прибиты были тисочки. Никогда нигде не видел я такого богатства.

— Целый завод! — сказал я.

Васька улыбался, польщенный.

— А хошь, — сказал он, — еще чегой-то покажу, — и, не дожидаясь моего согласия, наклонился под стол.

Васька вытащил что-то большое, замотанное в холстину и стал аккуратно разворачивать. Оказалось, это кусок неструганого дерева, и я сначала не понял, что он хочет мне показать. Но Васька повернул деревяшку другим боком, и я увидел голову коня, вырезанную грубо.

Конь мчался навстречу ветру, вскинув голову и раздув ноздри, а грива развевалась.

— Это отец коня вырезал, — сказал Васька, — хотел на коньке укрепить, да не успел, на войну взяли. Так, вишь, и осталось, только одна половина. — Он вздохнул. — А я вот делаю, делаю, и ничего у меня не выходит.

Я пошел вслед за Васькой в темный угол. Там на полу лежало штук шесть деревянных коней. Я брал их одного за другим, ощупывал, выносил на свет все они были угловатые и походили скорее на собак.

— Уж сколько сделал, — сказал Васька, вздыхая, — а близко даже нет. Он помолчал. — Но я добыю! Вот уборка кончится, опять строгать начну. А как выйдет, ту голову, что отец начал, доделаю. Только надо, чтоб не хуже вышло.

Васька кинул небрежно своих коней в угол, отцовского же аккуратно завернул в холстину и спрятал под стол.

Мы сидели в полутемной сарайке, задумчиво глядели в маленькое оконце, выходящее в огород, и я думал: «Как не похож стал Васька на самого себя! На того, каким он был в городе».

* * *

Уже темнело, когда тетя Нюра, расставив на столе тарелки, позвала нас ужинать.

Мы с Васькой стояли у ворот. Отсюда хорошо было видно, как, навесив замок на дверцы фургона, ушла куда-то коротенькая старуха, как закрыла свою мастерскую парикмахерша, унеся в контору табурет. Старик шофер давно уже исчез, и один только Семен Андреевич тукал молотком, ремонтируя изношенные, изопревшие бутки.

— Идите вечерять! — еще раз позвала тетя Нюра, и мы с Васькой пошли в дом, уселись по лавкам.

В избе было тихо. Тетя Нюра молчала, опустив глаза в тарелку с картошкой, молчал угрюмо Васька, одна бабка что-то приговаривала, пришамкивала себе под нос. Иногда тетя Нюра вопросительно посматривала на Ваську, но он ничего не замечал. Похоже было, что они поссорились и виновата в этой ссоре тетя Нюра. Но когда они успели поссориться? Я от Васьки почти что ни на шаг не отступал.

Васька вяло ковырял ложкой в тарелке, потом поднял голову.

Инвалид все тукал молотком.

— Мам! — сказал Васька. — Позови Семена-то Андреевича. Голодный, чай.

Тетя Нюра неожиданно легко вскочила, выбежала из избы, хлопнув дверью. Бабка и Васька тяжело переглянулись.

Стук на улице смолк, потом во дворе зажурчали подшипники инвалидной коляски, и в избе, опираясь руками на деревянные с кожаными ремешками для рук, появился Семен Андреевич.

Смотреть, как он поднимался на невысокий порожек, а потом опускался, было не вмоготу, и, если бы инвалид молчал, было бы совсем тяжело. Но Семен Андреевич шутил, приговаривал, и от этого неловкое напряжение сразу рассеялось.

— Здравствуйте, пожалуйста! — весело восклицал он. — Спасибо от странничка! А то мы по району странствуем, дома уже который день не ночуем, а горяченьким, глядишь, да угостят! Как же тут пропадешь, коли вокруг люди добрые!

Я и тетя Нюра помогли ему забраться на лавку, он помыл руки в тазике, который подала бабка, и, в шутку перекрестившись, принялся за картошку. Но тут же хлопнул себя по голове.

— Ох, голова садовая! — засмеялся инвалид. — В гости пришел, а про гостинец забыл!

Он вытащил бутылку, тетя Нюра и бабка заахали, но стаканчики поставили.

Взрослые выпили. В избе снова стало тихо. Только жужжала где-то муха.

— А вы что ж, в бога верите? — после долгого молчания спросил Васька.

Инвалид положил ложку, обтер губы, сказал шутливо:

— Эх, Вася, спроси-ка ты у солдат, кто верует? Кто и верил если, так теперь одного черта жалует. — Он засмеялся. — Эта война, пропади она пропадом, поядреней всякого чистилища будет.

Он снова разлил вино, стал серьезным.

— Выпьем, — сказал он, — выпьем давайте за упокой души Ивана Петровича и всех погибших солдат нашего района, хоть в упокой души я не верю. Давайте за память выпьем, чтоб она никогда не ушла.

Я подумал, сейчас Семен Андреевич будет походить на других инвалидов — станет пить, и зубы начнут стучать о стекло, а потом заплачет или заругается, — но инвалид обвел стол трезвыми глазами и закупорил бутылку.

— Будет, — сказал он. — Пьяная голова — что пустой шар: не ровен час, и улететь может.

Он засмеялся своим словам, но его никто не поддержал. Все сидели напряженные и невеселые.

Налили чаю. Васька прихлебывал пустой чай и посматривал на инвалида, будто хотел еще что-то спросить.

— А страшно было тогда? — проговорил он хрипло и кивнул головой на стол, а вернее, под стол, туда, где должны были у Семена Андреевича быть ноги.

Семен Андреевич хлебнул чаю и надолго замолк, словно взвешивая про себя, страшно или не страшно было тогда, когда оторвало ему ноги.

Наконец он поставил кружку на стол, отодвинул ее и посмотрел Ваське в глаза.

— Тогда, — он мотнул вниз, на свои ноги, — я ничего, почитай, не помнил. В медсанбате очнулся уже без ног. Отошел, гляжу — солнышко в щель пробивается, посмотрел на себя — вроде жив, здоров, руки на месте, голова, пощупал, на месте, ноги тоже, одеялом укрытые. — Он вздохнул. — Только чую, ноги мои ноют, лодыжки особенно. Ноют и ноют, ну, думаю, уж не ревматизм ли прихватил. Потом узнал, что ноги-то хоть и ноют, а их уж нет...

Васька словно окаменел.

— Испугался я потом, позже... Но это не страх, — подумав, проговорил Семен Андреевич. — Страх был тогда, под Москвой, когда твой батька погиб.

Он взялся за столешницу так, что пальцы побелели.

— И страх и злоба, — сказал он негромко. — Злоба, что гранат нету, и страх, что помрешь, ни одного немца не укокошив... Как уж вывернулся я тогда, и сам не знаю. — Он снова пронзительно посмотрел на Ваську. Только уж потом... уж потом, Васька, будь спокоен, столько их накрошил...

Бабка, осторожно ступая по скрипучим половицам, принесла керосиновую лампу. Спичка скользнула о коробок, пламя осветило избу бронзовым светом.

Где-то на полатах затиликал, запел сверчок.

Семен Андреевич улыбнулся, повернул лицо к печке:

— Ишь поет! Живность!

* * *

Тетя Нюра пошла постелить Семену Андреевичу в сенцах, мы с Васькой выбрались из-за стола и устроились на лавочке под окнами. Васька был смурной, глубоко затягивался и часто кашлял хриплым — на всю улицу голосом.

— Вот хухры-мухры! — проговорил он устало. — Никогда не угадаешь, что с тобой будет. Хотел тебе одно мероприятие показать, а тут фургон этот.

— Какое мероприятие? — спросил я.

— Да... — нехотя ответил Васька. — На вечерку хотел тебя сводить, да уж поздно, самый конец захватим. — Он зевнул. — А завтра вставать рано.

Я всполошился.

— Ва-ась! — заныл я. — Давай сходим, выспимся еще, успеем.

Васька усмехнулся, затоптал окурок, долго просить себя не заставил.

— Смотри, — сказал он, — два километра по лесу.

Он поднялся с лавочки, крикнул в ограду:

— Мам, мы спать ушли, — и на цыпочках вернулся ко мне.

То быстрым шагом, то скорой рысью мы двигались по лесной дороге. Ели обступали нас со всех сторон, воздух словно остекленел, и каждый вздох повисал в тишине. Мои ноги то проваливались в колдобины, то спотыкались о бугорки, и тогда я хватался за Ваську — за его рукав или плечо.

В глухой тишине я неожиданно различил какое-то тоненькое треньканье и голоса.

Васька прибавил шагу.

Сквозь деревья завиднелся трепещущий огонек, голоса и музыка стали внятнее: кто-то пел частушки, играла гармонь.

Лес наконец кончился, тишина и страхи остались за спиной, впереди выступали из мрака избы, а перед ними, под березкой, застлавшей черной шапкой полнеба, полыхал костер и плясали пары.

Гармонист играл довольно заунывно, повторял одну и ту же короткую мелодию, ни шума, ни смеха не было у костра, только раздавался глухой, мерный топот пляшущих.

Когда мы подошли ближе, озорной парнячий голос, нарочно надрываясь, разухабисто выкрикнул:

По деревне идёте,

Играёте и поёте,

Мое сердце разрывает

И спать не даётё-о!

Снова стало тихо, слышался только топот. Через полминуты, не раньше, словно крепко подумав прежде, девчачий голос, такой же надрывной, пропел:

Через речку быстрюю

Я мосточек выстрою,

Ходи, милый, ходи мой,

Ходи летом и зимой!

Мы остановились под березой, недалеко от баяниста. Это был совсем пацан, вроде, пожалуй, меня. Он играл, уставившись в землю, ни на кого не глядя, словно выполнял работу, тяжелую и неинтересную.

Нас заметили.

Тот же парнячий голос, что пел частушку, выкрикнул откуда-то из темноты:

— Аа-а, Васильевские ребята пришли. — И добавил обидно: — Два сапога пара, два пацаненка — мужик!

Пляшущие недружно засмеялись, и я почувствовал локтем, как подобрался, напрягся Васька.

— Опять, гады! — прошептал он, а громко, набрав басу, чтоб переорать гармошку, крикнул: — А што энто за мужики, каких из сапог не видно!

На этот раз засмеялись громче, видно, Васька попал в точку, и перед нами возник низкорослый парень в лихо заломленной фуражке. Я, не удержавшись, хихикнул. Парень был намного старше Васьки, а ростом с меня.

— Н-ну, зар-раза! — прошипел он, злясь, но ничего больше сделать не решился.

А в Ваську будто бес вселился.

Он неожиданно подпрыгнул и, отбивая сапогами чечетку, пропел парню прямо в лицо, издевательски улыбаясь:

Оп-па, дрица-ца, ца-ца-ца-ца,

Гоп-па, дриц-ца-ца-ца-ца!..

Словно пень или колдобину, Васька обошел низкорослого, вошел в круг, хлопнул, глядя куда-то в сторону, по плечу девчонку с косой, уложенной вокруг головы, замолотил сапогами пыль и запел с натужным весельем:

Ягодиночка, малиночка,

Вертучие глаза,

На тебя, на ягодиночку,

Надеяться нельзя-а!

Парень-недомерок исчез в темноте. Васька, подмигивая мне, задиристо топал сапогами, но у девчонки, с которой он плясал, лицо было испуганное и от этого вытянутое. Она переступала ногами, озираясь по сторонам, и вдруг — я даже заметить не успел, как это произошло, — пропала.

Возле Васьки, все еще топчущего и улыбающегося, стоял низкорослый, а рядом с ним человек пять здоровых парней.

— Уступи девку! — велел он.

— Не-а! — весело откликнулся Васька, хотя никакой девки давно уже не было.

— Да ну? — крикнул низкорослый и махнул кулаком.

Васька увернулся и шарахнул мужика прямо в нос. Тот пошатнулся, фуражка, которая была, наверное, ему велика, покатилась в пыль, а Васька, согнувшись, молниеносно ударил нападавшего снова. Мужик зашатался, упал, но Ваську тузили со всех сторон здоровые парни.

Мгновение я стоял оцепенелый. Было ясно как белый день, что нас побьют, что нас сейчас сотрут в порошок. Но стоять и ждать милости победителя? Стоять, когда пятеро молотят Ваську?

Я подхватил из-под ног какой-то дырн и молча кинулся к толпе, избивавшей Ваську.

Помню, что первый удар был удачным. Палка, ударившись о чью-то спину, разломилась. Потом что-то яркое мелькало в глазах, мои кулаки сталкивались с чем-то твердым. Наконец все стихло. Парни расступились, а мы с Васькой стояли посреди круга, молчаливого и хмурого.

Не говоря ни слова, Васька схватил меня за рукав, и мы побежали.

— Ходи, милый, ходи мой, ходи летом и зимой! — крикнул вслед недоросший парень, кто-то поразбойничьи свистнул, послышался девчачий смех.

Гармошка, смолкнув ненадолго, запиликала вновь.

Мы бежали домой, тяжело, с присвистом дыша и не говоря ни слова. В каком-то месте Васька свернул с дороги, и мы оказались у ручья. Он лег на землю и окунул голову в воду. Я сделал так же. Лицо онемело от прохлады.

— Два зуба шатаются, — сказал Васька с тоской. — Губу разбили... А шишек не сосчитать...

У меня саднила скула, болел подбородок, из носа текла, все не останавливаясь, жидкая и теплая кровь.

— Ох, гады! — сказал Васька. — Ох, гады!

Он помолчал минуту, решительно вскочил:

— Ну, я им сейчас!

Мы побежали снова, напрямик, продираясь сквозь кусты.

— Пошли тише! — сказал я Ваське, еле живой от усталости.

Но он не остановился.

— Не! — крикнул он. — Надо успеть! Надо успеть!

Я не понимал, куда надо успеть. Нас побили, и все. Надо признать себя побежденными. Что мы можем сделать вдвоем, ночью, против целой толпы парней? Позвать на помощь? Не кликнешь же председателя, бригадира, Макарыча или безногого сапожника. Нет, это наше поражение было только нашим, и кровь из носу тоже наша. «Сунуло же, — ругал я себя, — пойти на эту вечерку, будь она проклята! Кабы не я, спали бы теперь на сеновале и забот не знали...»

Но Васька спешил. Он бежал, хрипя и отплевываясь, увлекая за собой меня.

Серыми, тяжело дышащими тенями пробежали мы по деревне. Мало что соображая от побоев и долгого бега, я тащился вслед за Васькой и не очень удивился, когда мы оказались не у дома, а возле конюшни.

* * *

Васька растворился в темноте, громко звякнул засов, и тут же зачмокали копыта.

— Иди на сеновал! — крикнул Васька, на мгновение придержав возле меня лошадь. — Я скоро!

— Нет! — крикнул я. — Возьми меня!

— Да что ты! — воскликнул Васька и поддал сапогами в лошадиные бока. Конь всхрапнул и метнулся вперед.

— Васька! — крикнул я отчаянно. — Васька!

Залилась, зашлась в хриплом лае собака за забором.

Васька остановился. В три прыжка я догнал его.

— Чо орешь? — прохрипел он, но протянул руку.

Я вскарабкался на лошадиный круп.

— Держись крепше! — велел Васька, и мы помчались.

Впечатление было такое, будто мы летим по воздуху: земля, деревья вокруг только угадывались; одно небо, ставшее зеленоватым от приближающегося рассвета, плыло где-то над головой.

Обратная дорога к вечерке оказалась странно короткой, за кустами снова замельтешил огонек, Васька пробормотал злорадно:

— Пospели.

На опушке, за деревьями, он остановился и велел мне слезть. Разминая затекшие от неловкой езды ноги, я переступал перед конем и слушал Васькины наставления:

— Иди вон в тот куст, — приказывал он голосом командира. — Как я поскачу обратно, не мешкай, выбегай сразу...

Я кивал, не понимая ничего толком, костер и гармошка пугали меня. Ясно было, что Васька затеял что-то отчаянное, и как эта затея обернется, еще вопрос.

Словом, предстояли новые испытания, может, еще одна драка, и я, кивнув, опять подобрал с земли дрын, на этот раз покрепче.

Васька подвел коня к кусту, дал ему передохнуть, потом воскликнул глухо: «Ну!» — и ударил пятками в лошадиное брюхо.

Он мчался к костру молча, прижавшись к лошадиной шее, и на вечерке не сразу заметили стремительно скакавшую черную лошадь. Ее увидели слишком поздно. Гармошка умолкла, плясуны кинулись врассыпную, а Васька промчался прямо через костер, разметав пылающие поленья.

Все, что произошло дальше, походило на битву под Бородином. «Смешались в кучу кони, люди...» Конь был, правда, один, но он стремительно носился, громко ржал, становился на дыбы и снова скакал. Казалось — коней много.

Под березкой, в свете угасающего, разметанного костра мельтешили тени парней, девки визжали, словно их режут, и над всем этим, над разбегающейся толпой, возвышалась мрачная Васькина фигура.

Иногда он замахивался и делал такое движение, словно рубил кого-то саблей. Я догадался — это был кнут. Он торчал из голенища Васькиного сапога, когда я взбирался на лошадь.

Сражение оказалось кратким и победным. Парни, обгоняя девок, разбежались, костер утих, один только мальчишка-гармонист остался на месте, обхватив руками гармошку и вжавшись в березу. Его Васька не тронул.

Сделав последний, прощальный круг по полю боя, Васька остановил коня, оглянулся и, привстав в стременах, засвистел — долго, пронзительно и победно.

Небо уже совсем поглубело, темнота развеялась. Мы встречали утро победителями.

Руки у меня дрожали, словно это я, а не Васька рубил сейчас противников. Я сидел, обхватив Ваську за живот, и слышал ладонью, как гулко, молотом, стучит его сердце.

Поставив коня, Васька закрыл засов. Темнота все расступалась, и я увидел, как он засунул в петлю здоровый ржавый гвоздь.

— Гляди! — показал он мне, когда мы уходили от конюшни.

На лавке сидел пустой тулуп. Палка подпирала воротник, и в темноте тулуп походил на сторожа.

— Вот хитрая старуха! — покачал головой Васька. — Ночью спит, а под утро выходит.

Домой мы пробирались задами. Васька шмыгнул в ограду первым, за ним шагнул я.

— Кхм, кхм! — откашлялся кто-то в полумраке.

Мы вздрогнули. На крылечке сидели тетя Нюра и Семен Андреевич.

Васька затоптался, растерявшись, и вдруг сказал:

— Здрасьте!

— Здрасьте, здрастьте! — ответила тетя Нюра, поднимаясь. — Вот я тебя вожжами-то! — Но, заметив наши синяки и разбитые губы, села снова. Господи! Господи! Никак на вечерке гуляли?

— Ну мы им там дали! — весело отозвался Васька, приходя в себя.

Семен Андреевич засмеялся.

— Вот видишь, Нюра, — сказал он, — а ты горюешь! Раз парни на вечерках дерутся, значит, ничего! Значит, еще жить можно!..

* * *

Рано утром Васька больно ткнул меня в бок. Я крикнул, оторвал голову от подушки и, падая снова, не в силах бороться со сном, услышал, как в ограде прощается Семен Андреевич.

— Спасибо за хлеб-соль, — говорил он тете Нюре, — поехали странничать далее. На обратном пути заглянем еще, обутки раздать заеду, которые приготовить не успел.

— Милости просим, — ответила тетя Нюра. — Милости просим.

Я едва поднялся. Закрывая глаза, я жевал хлеб, запивал его молоком и думал, что все-таки уговор дорожке денег: сам же я просил тетю Нюру взять меня на жатву.

Она уже собралась, сложила в куль три круглых хлебных караваея, еще горячих, как мой кусок.

— Нравится хлебушко-то? — спросила тетя Нюра, снисходительно улыбаясь мне.

— Горячий еще, — ответил я.

— Твоя работа.

Я не понял.

— Ну, ты клевер-то вчера брал? — спросила тетя Нюра. — Так хлебушек этот из муки с клевером, травяной.

Я взглянул на кусок. Хлеб как хлеб, только черней, чем в городе. Откусил еще, разжевал внимательно. Нет, конечно, не то, жесткий какой-то и горький. Но тете Нюре не сознался.

— Хороший, — подтвердил я, удивляясь: никогда не думал, что хлеб из клевера бывает.

Вот мы и расставались с Васькой: я уходил, а он оставался. Тетя Нюра наказывала ему:

— Ты тут домовничай, бабушка-то на памятник идет. С Макарычем не ругайся. Мы, может, неделю не будем...

До полевого стана — несколько шалашей, укрытых сеном, возле которого чадил костерок, — мы добирались больше часа, и, когда пришли, жатва была в разгаре.

Тетя Нюра, повязав низко на лоб платок, сразу ушла в поле. Я присел у костра.

Клонило в сон. Ночное приключение не выходило из головы, но теперь я думал о нем улыбаясь. Мы победили, и пусть я в этой победе был только свидетелем, победа была за нами...

Сзади зашуршала трава. Я обернулся. На меня испуганно глядела Маруська, та самая Маруська, которую я осрамил возле речки.

— Ты что тут делаешь? — спросил я удивленно.

— Кашеварить помогаю, — ответила Маруська.

И тут же из-за шалаша вышла дряхлая старуха. Она волокла по земле черный чан, до блеска натертый изнутри.

— Давайте помогу! — сказал я, шагая бабке навстречу, но та отмахнулась.

— Вы лучше подберите еще хворосту, а то не хватит, — сказала скороговоркой Маруська и проглотила слюну.

Маруська повела меня за собой, в полчаса мы натаскали огромный ворох сучьев, я отряхнулся и пошел в поле, проведать тетю Нюру.

Я шагал, бодро насвистывая, и вдруг увидел, что какая-то старуха с серпом упала на колени. Я подбежал к ней, схватил за руку, чтобы помочь, но старуха повернула ко мне усохшее, плоское, как доска, лицо и спросила бойко:

— Да ты чо, касатик?

Только сейчас я заметил, что бабкины ноги обмотаны мешковиной и обвязаны бечевкой.

— Ты чо, милоч? — повторила бабка, и карие глаза ее блеснули. — Да не-ет, — протянула она, понимая меня, — это я так работаю! Spина-то меня не держит, стара стала, вот и приладилась! — Она двинулась вперед на обмотанных мешковиной коленках, ловко подсекла серпом колосья, словно ковшиком воду зачерпнула, и сложила пучок рядом.

— Так вам не надо помочь? — растерянно опросил я.

— Не, не, паренек, я настырная, я и так пожну, еще басчей выйdet, чишше.

Я пошел дальше. Бабкина голова скрылась в колосьях, а я все оборачивался и не мог поверить себе. Никак не мог поверить, что человек может так работать.

* * *

— Николка! — обрадовалась тетя Нюра, с трудом разгибая спину. Поглядеть пришел? — В одной руке она держала серп, блестящий на солнце.

— Нет, — сказал я, — не поглядеть. Подсобить. Дайте пожну.

Тетя Нюра рассмеялась, но протянула мне серп.

Я наклонился, взялся рукой за пук стеблей, подрезал их со звоном серп оказался острым. Но мне было неудобно. Я стал на колени, хватанул еще один пук.

— Пониже, пониже режь, — сказала тетя Нюра, — солома нынче пригодится, снова зимовать впроголодь станем.

Я срезал колосья, пыхтел, обливался потом и торопился. Сзади стояла тетя Нюра, и мне хотелось показать, что я умею работать не хуже других, не хуже взрослых и, уж конечно, не хуже той высохшей старухи на коленках. Изредка я поднимался, глядел в ту сторону, где ничего не было видно только шевелились колосья. Тетя Нюра выжала, конечно, дальше той старухи, но теперь бабка сокращала разрыв. Я снова наклонялся, резал колосья, складывая их в кучу, тетя Нюра вязала сноп, но всякий раз, как я поднимал голову, бабка на коленях выравнивалась с нашим покосом все яснее и четче. Тетя Нюра не опешила, не отнимала у меня серп, словно чего-то тянула.

— Николка, — спросила она, и я едва расслышал ее голос: в висках у меня гудела кровь. — Николка! — повторила тетя Нюра громче, видя, что я не отвечаю. — Отец-то твой не вернулся?

— Нет! — ответил я, сбивая дыхание. — Не отпускают пока.

— Отпустят! — уверенно сказала тетя Нюра и надолго замолчала.

Поднатужившись, я, кажется, все-таки немного обогнал старуху.

— Ты аккуратней жни, — сказала мне мягко тетя Нюра, словно боясь обидеть.

Я обернулся. Сзади меня, на выкошенном месте, торчали пучки несжатых колосьев.

— Ладно, ладно, — сказала она. — Я подберу, не бойсь. — И вдруг без перехода спросила: — Слышь, Николка, а если бы батя твой не вернулся, а мама снова замуж вышла?

Я распрямился и уставился на нее.

— Чего это вы, тетя Нюра, сговорились, что ли, с Васькой? Он меня тоже про это спрашивал.

— Спрашивал? — испугалась тетя Нюра и проговорила тихо? — Ну и что?

— «Что, что!» — ответил я, сгибаясь над колосьями. — Я бы лично сбежал. В ремеслуху, например, или в суворовское училище.

— Сбежал? — отозвалась тетя Нюра, словно эхо.

— Сбежал! — ответил я, любуясь, как вжикает мой остро отточенный серп: вж-ж-вж-ж! — и вдруг подскочил. Левую руку резанула боль.

Я бросил колосья, встал с колена: тыльную сторону ладони рассекала красная полоса. Тетя Нюра испугалась, подбежала ко мне, схватила за руку, стала причитать, вытирая кровь платком, снятым с головы, но порез был неглубокий, и она успокоилась.

Боль утихла, ранку только немного саднило. Но тетя Нюра отвела меня к шалашам, замотала руку платком. Я хотел было идти с ней, но она не согласилась.

— Нет уж, — сказала она, — пока хватит. — И спросила: — Ты поднять сноп можешь?

Что за вопрос? Конечно, смогу. Я кивнул.

— Тогда таскай их на гумно. — Она указала на ровную площадку в конце поля: — Туда молотилку подгонят, дак таскай пока потихоньку.

Снопы только на вид казались легкими — после десятого рейса руки у меня просто отнимались.

Прикатили молотилку, бригадир завел мотор и стал совать в разинутую железную пасть усатые снопы. Зерно, золотое, гладкое, сыпалось прямо на выровненную, подметенную чистым березовым веником землю. В телегу запрягли лошадь, и бригадир, видевший, как я таскал снопы, громко крикнул:

— Управишься с кобылой?

Я не знал, что сказать, ведь ни разу в жизни я не правил лошадью вчера первый раз с Васькой прокатился, да и то, что это было за катанье!..

— Ну ладно, — закричал он, — Маруська подсобит!

Маруська вертелась возле гумна.

— Будешь править, — велел ей дядька, — а он — снопы подбирать.

Мы с Маруськой уселись на телегу и поехали по полю. Возле снопов Маруська, стараясь басить, кричала лошади: «Тпр-ру!» — но та и сама останавливалась, понимая свою работу. Я соскакивал с подводы, грузил снопы на телегу, и мы ехали дальше. К обеду я уже управлял лошадей не хуже Маруськи и ездил один, отправив ее на помощь бабке: колхозницы уже возвращались с поля. Маруськина бабка, слезая от дыма и глядя из-под ладошки вдаль, стучала железной палкой о рельсину, подвешенную на проволоке к дереву.

Но усталые, измотанные женщины не торопились к чану. Все шли к молотилке. Бригадир выключил мотор, и женщины молча стояли вокруг горы зерна.

— Ну вот, — сказал бригадир, — с хлебушком вас, бабы!

Женщины вдруг заговорили торопливо, словно увидели что-то диковинное, стали брать в ладони зерна и сыпать их обратно золотыми ручейками.

— Обедать, бабы, обедать! — пискнула повелительно прибежавшая от чана Маруська, и женщины дружно рассмеялись.

Обедали говорливо, посмеивались, подшучивая над Маруськой, над бабкой-кашеваркой, над бригадиром, который, по их словам, был героем дня намолотил первое зерно с поля. Бригадир жмурился, подносил ко рту деревянную ложку, аккуратно поддерживал ее над куском жесткого клеверного хлеба и кивал головой.

— Плохо слышит, — шепнула мне тетя Нюра. — Руки-ноги целые, а раненый. Контузия у него.

Я понял, почему громко кричал бригадир у молотилки: он, наверное, и шум мотора-то плохо слышал.

Я вглядывался в бригадира, в замкнутое его, бронзовое от загара лицо, отыскивал бабку с карими глазами, которая жала хлеб, ползая на коленках, смотрел на Маруську, оттопырившую щеку, на тетю Нюру в старом, заношенном платке, — я глядел внимательно в эти лица, веселые в такую минуту, веселые оттого, что вон там, возле умолкшей молотилки, лежит, переливаясь на солнце, спелое зерно, и улыбался тоже.

* * *

Ночью я спал в шалаше, рано утром оплескивал лицо в розовой от ранней зари воде, работал потом весь день, подвозя снопы к молотилке, и три дня промчались, будто один. На четвертый день, как раз в обед, сзади зацокали копыта, и кто-то крикнул громко:

— Здорово, бабоньки!

Я обернулся. На лошади сидел усатый дядька в синей милицейской форме. Фуражка еле держалась у него на затылке. Одна нога у милиционера была в сапоге и упиралась в стремя, как положено, вместо другой торчала деревянная култышка, и второе стремя болталось без надобности.

Одноногий милиционер, ловко спрыгнув с лошади на здоровую ногу, подхромал к чану, снял фуражку.

— Хлеб-соль вам, женщины! — сказал он, вежливо кланяясь. — Хорошо хлебушка-то, гляжу, намолотили.

— Хорошо, хорошо, — ответила тетя Нюра, — с этого поля хорошо, а в колхозе, может, и плохо.

— Да-а! — протянул милиционер, принимая от Маруськиной бабки дюралевую ложку. — Еще жать да жать. И во второй бригаде, и в третьей дополна делов. Терентий давеча в район звонил, матюгался. Обещают комбайн пригнать от соседей. Да и этот танкисты хвалятся наладить.

— Ладно бы машину-то, — сказала тетя Нюра, вглядываясь в желтое море хлеба. — Сколько тут руками-то проваландаемся?

Женщины заговорили, спрашивали у милиционера про деревенские новости — все же три дня в деревне не были.

— Какие новости? — неожиданно нахмурился милиционер. — Никаких новостей. Памятник вот сколачивают.

Тетки стали подниматься, старуха с карими глазами перекрестилась, отвернувшись куда-то в сторону, словно стесняясь.

Поднялся милиционер.

— Нюр! — сказал он, натягивая фуражку. — Отойдем-ка, дело есть. И ты, паренек, — позвал он меня.

Думая о лошади, о том, как снова сейчас стану отвозить снопы к молотилке, я нехотя подошел к милиционеру. «Верхом бы еще покататься, думал я, — в седле!»

— Вот что, Нюр, — сказал он, неловко переминаясь с ноги на култышку, — Васька пропал.

— Как пропал?! — ахнула тетя Нюра.

— Да уж пропал. Три дня нету. Как ты ушла с этим мальцом, так и Васька на работу не вышел. Обыскались, Макарыч в розыск заявил. Говорит, горох воровал твой Васька вот с этим пацаном, да еще за три дня прогула по трудовому законодательству знаешь што... — Милиционер скрестил пальцы в решетку. — Я думал, тут он, но нету.

— Ой! — охнула тетя Нюра. — Значит, убег! — Она сорвала с шеи платок, заплакала и опустилась на землю. — Убег! Убег! — повторяла она. — Это я виноватая... — Она вскинула к милиционеру зарезанное лицо. — А найдут, Игнат, — посадить могут?

— Могут, — ответил Игнат, будто извиняясь. — По нынешним строгостям могут. Да еще горох чертов!

Тетя Нюра словно только услышала про это.

— Какой еще горох? — крикнула она и вскочила. — Какой горох?

Милиционер стоял, опустив голову, и ковырял култышкой мягкую землю.

— Николка! — крикнула тетя Нюра. — Какой горох?

К ним стали подходить колхозницы. Они останавливались поодаль и слушали.

Я вздохнул поглубже. Вот какой этот главбух проклятый, оказывается. Не поленился, значит, слазить в огород к Ваське, пока дома никого нет, посмотрел, растет ли горох.

— Это я, — произнес я дрогнувшим голосом, — арестуйте меня!

Милиционер удивленно оглядел меня по частям: сперва штаны, потом живот, потом голову с кепкой блинчиком.

— Арестуйте! — повторил я. — Васька тут ни при чем. Это я горох рвал.

— А много? — осторожно спросил милиционер.

— Два кармана! — ответил я. — А Васька меня отговаривал! А я его не послушался!

Милиционер плюнул.

— Чертов Макарыч! — сказал он. — Я думал, два мешка.

— И что к пареньку пристали! — проговорила старуха с веселыми глазами. Коленки она уже снова обмотала мешковиной и походила на пугало руки бы ей только раскинуть да встать неподвижно. — Он вить работает вон как! Снопы возит! Жал намедни! Дак чо, ему гороху карман набрать нельзя?

Тетки, окружившие нас, загудели, закивали головами, но одна вздохнула:

— Охо-хо, с этим Макарычем лучше не путаться, под какой хошь закон подведет.

— Ребенка-то? — удивилась Маруськина бабка. — Да чо мы, безголосые али как? — В руке она держала поварешку и трясла ею, будто хотела врезать Макарычу по лысому лбу этой штуковиной.

Подошел бригадир, сытый и веселый. Ничего он не слышал, про что тут толковали.

— А ну, граждане бабы, поехали дальше, пока ведро. Не дай бог, дождь зарядит.

Тетки стали расходиться.

Кто-то тронул меня за кепку. Я поднял голову. Милиционер уже сидел на лошади.

— Садись! — сказал он мне печально.

Я просунул ногу в свободное стремя и обреченно сел сзади него.

Женщины приветливо махали мне.

— Не боись, паренек! — крикнула старуха, обвязанная мешковиной.

Махнула рукой голоногая Маруська. Мелькнул общий чан, молотилка и спешащий к ней бригадир.

Сверху, с лошади, было далеко все видно.

* * *

— Вот что, паренек... как ты, — сказал милиционер.

— Колька, — ответил я, крепясь.

— Ежели пытаться будут про горох, говори, что ничо не знаешь. Не брали, мол, никакой горох. Вас ведь только один Макарыч видел?

Я кивнул.

Тетя Нюра шагала рядом с конем и глядела на меня заплаканными глазами.

«Кругом какая-то чушь, — думал я, — горох этот проклятый, Васька куда-то сбежал...»

— Теть Нюр! — сказал я, стараясь ее успокоить. — Да вы не волнуйтесь. — Она взглянула на меня как на спасителя. Как на святого, который тут, на лошадиной спине, трясется. — Горох рвал я, Васька ни при чем, а сбежать он не мог, что вы! Он, наверное, на Белой Гриве пашет!

Я вспомнил двух изможденных теток и старую лошадь, вспомнил, как глядел на них Васька, когда мы уходили и все время оборачивались с горы, как он поджимал губы и шевелил желваками.

— На Белой Гриве? — удивился милиционер. — А ты откуда знаешь? Говорил он тебе, что ли?

— Да нет, — удивился я его непонятливости. Хотя откуда ему было понять? — Не говорил. Просто мы с ним туда ездили, там две женщины пашут, а поле — ого-го!

Тетя Нюра всхлипнула — то ли на радостях, что Васька еще, может, не сбежал, то ли от горя — пропал все-таки.

— Не реви, не реви, — успокоил ее Игнат, — сейчас доставлю вас и туда сгоняю.

— Будь чо будет! — проговорила вдруг твердо тетя Нюра, вытирая глаза. — Будь чо будет, только бы не ушел! — Она вздохнула. — В жисть тогда перед Иваном не отвечу.

Я знал, что Иваном звали Васькиного отца, и удивился — он же погиб. Милиционер взглянул на нее сверху, цокнул на коня.

— А ты это всерьез, Анна? — спросил, помолчав, он, и я опять удивился.

Оказывается, Нюрой-то ее зовут так по-простому, а настоящее имя у нее Анна. «Анна! — подумал я. — Красивое имя. Как у королевы какой».

— Ох, Игнат, — ответила тетя Нюра, — что тебе и сказать, не знаю. Боюсь, не поймешь ты меня, осудишь, ведь ты воевал, ногу на войне потерял, значит, понять не захочешь.

Я слушал этот разговор вполуха, не очень вдумываясь в него. Все мне тюрьма мерещилась и строгий суд, где на стене висит герб СССР.

— Отчего? — ответил Игнат негромко. — Или думаешь, я там, на фронте, с ногой вместе и душу потерял?

— Значит, понимаешь? — Тетя Нюра взглянула на него удивленно, обрадованно.

— Я-то пойму, но оно, конечно, поймут не все, — ответил Игнат, — даже ваш брат, бабы.

— Да уж я назад повернула, — ответила тетя Нюра, опуская голову. — У меня ведь Васька уже жених.

— Жених-то жених, да и ты-то ведь не старуха. Старух у нас и так полно, зачем тебе-то к ним приставать? Разве мало у нас и без того горюшка? Мертвые не встанут, а живым надо жить, не в могилу глядеть, не маяться, себя не гнести. — Милиционер вздохнул, мы проехали немного молча. — Будь бы я на Ивановом месте, Анюта, — сказал он, наклоняясь с лошади к тете Нюре, — не вернись бы я с фронту, я бы тебя понял, и будь воля, так бы и сделать велел.

— Игнат, Игнат! — воскликнула тетя Нюра, разглядывая загорелое и обветренное лицо милиционера. — Вон ты какой! Я и не знала! — Она взялась за седло и шла близко к лошади, не отрывая взгляда от милиционера. — Ну, спасибо тебе, что не укорил от всего мужицкого племени! Да уж теперь все решено, и главный прокурор тут не я, не ты, не бабы, а сын мой, Васька.

Что-то мудроно они выражались. То Ваську ловят, то Васька — прокурор.

Мы въехали в деревню, и милиционер остановился возле Васькиной избы. Я сидел и слезать не собирался, потому что понимал: моя дорога дальше. В колхозную контору или того хуже.

Тетя Нюра повернула кольцо в двери.

— Ну а ты чего? — обернулся ко мне милиционер.

— Как чего? — удивился я.

Он догадался, что я жду дальней дороги, и расхохотался.

— Слезай давай! — крикнул он весело. — Приехали! — И добавил, обращаясь к тете Нюре: — Ну, так я на Белую Гриву.

— Обожди! — ответила тетя Нюра. — Жарко! Зайди кваску попей!

Я сполз с лошадиной спины и вошел в избу. Наклоняя голову, чтобы не удариться, как в первый раз, о притолоку, я ткнулся прямо в тети Нюрину спину — она переступила порог и тут же остановилась. Я высунулся из-за нее: за столом как ни в чем не бывало сидел Васька и жевал хлеб, запивая его молоком. Говорил же я: никуда он не денется!

Тетя Нюра шагнула в избу, опустилась обессиленно на лавку у печи.

Гремя деревяшкой и снимая на пороге фуражку, вошел милиционер.

— Во! — сказал он, радуясь. — Ладно, что заглянул, а то сгонял бы впустую.

— Где был? — устало выдохнула тетя Нюра. Она не отрываясь глядела на Ваську, будто уж не чаяла и увидеть.

— «Где, где!» — буркнул Васька. — На Белой Гриве пахал.

— Вот видите! — воскликнул я радостно. — А где ж ему еще быть?

— Где быть? — тихо переспросила тетя Нюра. — Где быть? — И поглядела на кнут, лежавший на лавке. Кнут был ременной, и ремешок аккуратно закатан вокруг кнута. — Где быть? — опять повторила тетя Нюра и вдруг схватила кнут в руки, стала торопливо его разматывать. — А вот где быть! — крикнула она яростно. — Я сейчас укажу, где быть!

Она рванулась к Ваське, но милиционер, торопливо стукнув протезом, подскочил к ней и ухватил за локоть. Ременная плеть звонко хлестнула по столу, возле самого Васькиного лица, опрокинула железную кружку. Молоко полилось по столу белым ручьем, закапало на пол.

Стало тихо. Васька не вздрогнул, не вскочил. Он сидел так, как сидел, только положил на стол недоодеженный кусок, убрал руки и опустил голову.

— Ведь под суд отдадут! — сказала тетя Нюра и заплакала.

Васька поднял голову, долго глядел на мать — пристально, не мигая, потом сказал:

— Я работал, ясно? Я пахал!

Дверь громко грохнула, и в избу лисьей походкой вошел Макарыч.

— Ну, — проговорил он, — нашли беглого? Ох, работнички, разве с вами хозяйство построишь?

Желваки на Васькином лице заходили шарами. Он выложил на столешницу сжатые кулаки, но смолчал. Милиционер неожиданно круто повернулся и вышел, не глядя на Макарыча.

— Ты куда, Игнат? — крикнул тот вдогонку, но милиционер не отозвался. — Протокол составлять надо!

Я сжался.

«Протокол! — передразнил я Макарыча. — Выразаться сперва научись, потом составлять будешь!»

— И где был? — спросил вежливо главный бухгалтер, подсаживаясь к столу и с интересом вглядываясь в Ваську. — В райцентр бегал или в городе по кинам лазил?

«Издевается еще, гад!» — подумал я и удивился Васькиному терпению.

— На Белой Гриве пахал, — хрипло ответил Васька.

— А кто тебя туда посылал? — любезно поинтересовался Макарыч, двигая очки на самый край своего носика, похожего на нырок.

Васька промолчал.

— Ох, Василей, Василей, — со вздохом, как бы жалеючи, произнес Макарыч, — сколь я тебя предупреждал: смотри, достукаисси, смотри! По-хорошему говорил, по-отцовскому.

— Заткнись! — вдруг гаркнул Васька и вскочил. — «По-отцовскому»!

У Макарыча взмокла лысина.

— Ну погоди, гаденыш, — прошептал он, — под суд отдам!

— Под суд? — прогромыхало вдруг от двери.

Я обернулся. В избу входил Терентий Иванович, председатель. За ним стучал деревяшкой Игнат.

— Под суд, говоришь? — спросил снова председатель. Он подошел к столу и уселся на лавку рядом с Макарычем. Игнат остался у дверей. — А за что под суд?

— А за то, Терентий Иванович, — шустро повернулся к нему главбух, что прогулявший три дня отдается под суд!

Макарыч налился кровью, он и председателем был недоволен. Недоволен, что вдруг появился тут Терентий Иванович и ему вопросы задает.

— С чего это ты взял, Макарыч — спросил председатель, — что он прогулял? Он на Белой Гриве двум бабам пахать помогал. И пахать там благодаря ему мы на день раньше кончили, понял? Парню спасибо надобно сказать. Малец еще, а он работать лезет. Потому что понимает, как трудно.

— Понима-ает! — протянул, издеваясь, главбух. — А горох колхозный воровать — тоже понимает?

«Ну гад, ну гад!» — прошептал я и кинулся в атаку.

— Это не он горох рвал, — шагнул я вперед, — а я!

Терентий Иванович обернулся ко мне, удивленно разглядывая, что тут за личность такая еще появилась.

— Он меня выручить хочет, — сказал Васька, бледнея и кивая на меня. Он думает, его не посадят, раз он маленький, вот и выручает. Но вы его не слушайте, это я горох ломал. Два кармана набрал.

— А кто вам сказал, — медленно спросил Терентий Иванович, — что за два кармана гороха вас посадят?

Мы молчали. Председатель хмуро поглядел на Макарыча:

— Опять ты, главный бухгалтер?

— Я! — гордо ответил Макарыч, промокая лысину платком. — Я как есть и буду сознательный колхозник, не перестану стоять на защите социалистической собственности.

— Знаешь что, Макарыч, — задумчиво произнес председатель, — катись-ка ты отсюда!

Макарыч вскочил из-за стола, подошел к двери, открыл рот, собираясь сказать что-то, но председатель перебил его.

— Знаю, знаю, — прикрикнул он, — чего ты сказать собираешься! Мол, жаловаться стану! Жалуйся! Мы пуганые. Между прочим, когда жаловаться будешь, не забудь сказать, что, когда даже мальчишки работали, ты в конторе сидел!

Дверь грохнула, Макарыч исчез. В избе стало тихо.

— Вот кнутарь! — сказал председатель. — Ему бы только с этим, — он кивнул на кнут, — над людьми стоять. Попадают же такие гады!

Васька сидел опустив голову, на столе все еще белела лужица молока и лежала опрокинутая кружка.

— Ничего, Васька, — сказал председатель, подходя к нему и садясь рядом, — вот купим осенью трактор, снова пошлю тебя учиться. Будешь главным пахарем у нас! Правильно ты порешил:

счетами стучать — не для мужика занятие! А то вырастешь, облысеешь и станешь таким же Макарычем.

Я представил себе Ваську лысым, с очечками на носу, как у главбуха, и расхохотался.

И тетя Нюра, милиционер с деревянной ногой, Терентий Иванович и Васька вдруг тоже рассмеялись.

Это в самом деле было смешно.

* * *

День клонился к закату. Солнце запуталось в слоеных облаках над лесом, угасило свой жар, потонуло ярким малиновым шаром в синем мареве. Васька, перекинув топор через плечо, а я с лопатой наперевес шли к околице.

— Коли можете, приходите, — сказал, уходя, председатель, — там и бабка ваша копошится, смените ее.

На взгорье, за деревней мельтешил народ. Слышался сдержанный говор, редкие, приглушенные удары лопат о камень, стук двух или трех топоров и гундосый голос пилы.

Чем ближе мы подходили, тем ясней различал я, что взгорье на околице как бы выросло, поднялось повыше. И точно. Люди насыпали холм, невысокий, метра в два, и плотно укрыли его дерном. Горка подросла, и на ней, на этой высотке, белела дощечками треугольная пирамидка.

Мы опоздали, памятник был почти готов. Терентий Иванович пилил с Васькиной бабкой последние доски, а знакомый мне дед, так и не снявший медалей, гладко отесывал эти досочки и аккуратно набивал их к основам. Голова у него тряслась, но рубанок ходил в руках точно, снимая тонкую стружку.

— Дед Трифон, — крикнул председатель старику, увидев нас, — принимай подмогу, передохни!

— А ну, поступай в мою бригаду! — весело зашумел дед, но постругать дощечки нам не дал, а велел их аккуратно прибивать к стоякам, по два гвоздя с каждой стороны, да отпиливать концы.

Васька заворчал, что ему приходится делать такую ерунду, и прогнал меня к Терентию Ивановичу.

— Не вишь? — строго, но тихо спросил Васька. — Однорукий!

Я робко подошел к Терентию Ивановичу и затоптался за спиной, не зная, как начать. Он обернулся.

— А-а, — протянул председатель, — это ты? Что деду не помогаешь?

— Там Васька, — ответил я, переминаясь, — давайте я вместо вас.

Мы подошли к пирамиде, Терентий Иванович вставил внутрь пирамиды жердину, так что она торчала над ней.

— Я буду держать, — сказал он, — а ты заколачивай обухом в землю.

Я стал легонько постукивать по жердине. Она хорошо шла в мягкую землю, но Васька обогнал меня — уже приколотил все доски.

— Ну-ка, мигом домой! — велел ему, не оборачиваясь, председатель. Найдешь фанерку, вычертишь по линейке звезду — сумеешь?

— Сумею, — прохрипел Васька.

— И пулей сюда! Усек?

— Усек! — растворяясь в темноте, крикнул Васька.

— Стоп! — остановил его председатель. — На обратном пути заскочишь ко мне в избу, возьмешь на подоконнике банку с краской и кисточку. Валяй!

Васька убежал, а председатель снова отдавал команды.

— Бабушка, — крикнул он Васькиной бабке, — и все, кто свободные! Несите сучья и запалайте огонь! Внизу, у подножия холма, затрещал костер. Со стороны деревни к нему тянулся народ. Огонь выхватывал усталые, с полукружьями под глазами, лица женщин, низко надвинутые на лоб платки. Тени делали даже тех, кто помоложе, старухами, и мне казалось — перед памятником собралась толпа одних дряхлых старух.

Неожиданно я увидел в толпе Маруську и шагнул к ней.

— Ты как тут? — спросил я.

— Дак мы все приехали, — сказала Маруська, — ведь дядя Игнат сказал, что, должно, сегодня закончат, дак...

Она опять захлебнулась словами, робко, боязливо глядя на меня, а я увидел в толпе старух Маруськину бабку, и ту, с веселыми карими глазами, которая жала хлеб на коленках, и контуженного бригадира, и тетю Нюру с Васькиной бабкой, и еще тех, с Белой Гривы, — худую и Матвеевну, и еще, еще разных женщин, которых я видел впервые, хотя, может, тогда, на собрании, они были тоже, — конечно, были, не могли не быть.

Дед Трифон притоптал дерн у пирамиды, придиричиво оглядел памятник. Через толпу пробился Васька. Он загнанно дышал и держал в руке фанерную светлую звездочку.

Терентий Иванович взял ее, покачал на ладони, будто взвешивая тяжесть.

— Ну прибей, — сказал он Ваське, и тот, подхватив топор, точно, как снайпер, забил гвоздь в центр звездочки.

Белым пятнышком мерцала она над пирамидой. Сзади, над ней, чернело ночное небо, и там тоже молчали, переливались звезды, тысячи звезд. Тысячи тысяч. Но эта, фанерная, была ближе других к нам. Она как будто шевелилась в неровном свете костра.

— Ну вот, — сказал Терентий Иванович, — и поставили мы памятник нашим солдатам. — Он умолк и вдруг спросил, спохватившись: — Васька, краску принес?

— Принес, — пробасил Василий.

— Пиши, — сказал председатель. — На каждой планке, их тут ровно шестьдесят четыре.

Васька приблизился к пирамиде.

— Иван Тихонович Васильев, — негромко и совсем не торжественно сказал председатель. — Одна тысяча девятьсот первый — тире одна тысяча девятьсот сорок первый.

Стало тихо. Только трещал костер, разбрызгивая огненные искры, словно это был артиллерийский салют. Из двадцати одного орудия. Двадцатью залпами.

— Семен Николаевич Васильев, — продиктовал председатель. — Одна тысяча девятьсот двадцать третий — одна тысяча девятьсот сорок второй.

Васька аккуратно выводил красной краской ровные, стройные буквы и такие же ровные цифры. «Счетовод, счетовод, — подумал я, — какие расчеты тебе делать выпало».

— Семен Семенович Васильев, — сказал председатель. — Одна тысяча восемьсот девяносто второй — одна тысяча девятьсот сорок первый. Борис Иванович Васильев. Одна тысяча восемьсот девяносто девятый — одна тысяча девятьсот сорок четвертый. Семен Борисович Васильев. Одна тысяча девятьсот двадцать пятый — одна тысяча девятьсот сорок второй.

«Все Васильевы! — поразился я. — Одна семья, что ли?» Хотел спросить кого-нибудь, но не решился.

— Иван Петрович Васильев, — сказал председатель сдавленным, напряженным голосом. — Одна тысяча девятьсот шестой — одна тысяча девятьсот сорок первый.

Я посмотрел на Ваську. Он вдруг беспомощно обернулся к председателю. Никогда я не видел таким Ваську. Губы у него тряслись и банка с краской тоже.

— Терентий Иванович, — сказал он глухим голосом, — я... — Он мотнул головой, словно у него стоял комок в горле. — Пусть Николка! У него хороший почерк!

Председатель посмотрел в толпу:

— Коля! — сказал он. — Иди сюда!

Я не понял, что это зовут меня, но толпа передо мной расступилась, образуя тропку к холму. Кто-то подтолкнул меня сзади, и я, как на трибуну, поднялся на горку.

— Пиши! — сказал мне Васька, и я принял у него банку с кисточкой.

— Иван Петрович Васильев, — повторил председатель. — Одна тысяча девятьсот шестой — одна тысяча девятьсот сорок первый.

Я нагнулся к пирамидке и аккуратно вывел буквы. Я волновался, и рука у меня дрогнула. Я обернулся. На меня молчаливо смотрели люди.

Я повернулся к памятнику и поставил точку.

— Иван Дмитриевич Васильев...

Вдруг кто-то дико закричал. Я опять обернулся, оплеснув штанину красной краской. На земле, у подножия, лежала тетка с карими глазами, та, что жала на коленях. Она прижималась к дерну, обнимала его и плакала, плакала так отчаянно, что мне стало страшно. Я отыскал взглядом Ваську. Он сидел на холме, возле пыльных сапог председателя, обняв руками свои колени.

Я отыскал тетю Ньюру.

Она не плакала. Она глядела сухими, воспаленными глазами на пирамиду и, казалось, ничего не видела.

Костер раскидывал в красной траве черные тени и громко хлопал прогоревшими сучьями.

Я содрогнулся. Первый раз в жизни я видел такое горе.

Горе не одного человека, не двоих, не одной семьи, а горе целой деревни.

* * *

В ту ночь я долго не мог уснуть. Перед глазами плясал торопливый язык костра, бесконечно шуршало сено.

Я думал о памятнике, об убитых солдатах и о своем отце. Еще тогда, в городе, когда Васька рассказал, как погиб его отец, мне сделалось стыдно за то, что я счастливей моего приятеля. Сегодня я снова почувствовал это, но теперь я понял, что это не стыд. Я просто понял, что в час скорби других, такой скорби, которую я видел, твое счастье должно как бы отступить в тень, должно отодвинуться, стать в сторонку.

В трепещущих бликах костра, стоя у памятника, я не был, не мог быть счастливым от мысли, что мой отец жив, хотя мог погибнуть, как погибли эти Васильевы. Я горевал вместе со всеми, я выводил буквы дрожащей рукой, еле сдерживая слезы, и не думал, не мог думать про отца.

Теперь же, когда все осталось позади, отец словно шагнул ко мне, оттуда, из Германии, выступил из тьмы и встал совсем рядом. Мое собственное счастье стало ближе, и мне до смерти захотелось поскорее схватить отца за руку, поскорее увидеть его и не умом, а в самом деле ощутить свое счастье...

Я уснул в каком-то смятении.

Проснулся неожиданно. Словно кто-то позвал меня. Я оглянулся. Рядом всхрапывал Васька.

— Кто тут? — испуганно прошептал я.

Никто не отозвался. Я вздохнул: значит, показалось. Но легче мне не стало, наоборот.

Мысли, одолевавшие меня вечером, выплыли снова. Все, что я видел вчера у памятника, было тягостно, смертельно тягостно, и, все еще погруженный в это горе, я испугался за отца: а вдруг с ним что-нибудь случилось? Теперь, когда война кончилась?

Я тут же прогнал эту глупость — нет, нет, это ерунда. Ничего не может случиться с отцом. Война кончилась, ее больше нет.

Я вздрогнул: радостное предчувствие окатило меня, и я понял, что все это глупости — с отцом ничего не случилось, просто он вернулся домой.

Я перевел дыхание, боясь спугнуть придуманное мной. А что? Разве не мог вернуться? Мог! Очень даже мог.

Я толкнул Ваську...

Он молча вскочил, как часовой, уснувший на посту, потом уже спросил:

— Ты что?

— Васька, — сказал я, волнуясь, — знаешь, Васька, я сейчас домой пойду. У меня, наверное, отец вернулся.

— С чего ты взял? — удивился он.

— Просто так, — ответил я, торопливо стряхивая с себя сено, — просто так. Он, наверное, вернулся, надо идти.

Мы спустились в ограду. Тетя Нюра наливала в чугунок воду.

— Проснулись, голубчики? — удивилась она. — Спали бы еще.

— Нет, — ответил я, все больше волнуясь. — Нет, тетя Нюра, я должен идти домой, у меня отец приехал.

Она строго посмотрела на меня, помолчала, потом спросила:

— Чуешь, приехал?

— Чую, — ответил я, — чую, тетя Нюра.

Она засуетилась, пошла в дом, положила в рюкзачок каравай хлеба.

— Раз чуешь, — сказала она, — иди, Коля! Сегодня как раз машина с молоком в город идет, подвезут, я упряжу.

На дорогу я выпил молока, мы присели на минуту.

— Ну, мы пойдем пока, — сказал я. Мне не терпелось домой.

— С богом! — вздохнула тетя Нюра.

Молча, в звенящей тишине, мы прошли деревню и остановились у околицы. Грубый деревянный памятник высился на невысоком холме, и по нему яркие, как кровь, краснели буквы и цифры, которые мы с Васькой выводили вечером. Только звездочка была белая, фанерная.

— Покрашу сегодня, — сказал Васька и вздохнул.

Мы поднялись на горку, постояли минуту. Сверху было видно, как над полем белыми пластами стлался туман. Он стоял неподвижно над зеленой травой, над коричневой пашней. Снопы, словно пловцы в реке, поднимали над ним свои головы. В кустах весело перекликались птицы.

— Васька, — спросил я, — а почему только Васильевы? Все родственники?

— Есть и родственники, — сказал он, — очень даже много. Но у нас в деревне все Васильевы, потому что деревня Васильевка.

Он оглядел пирамидку тяжелым взглядом.

— Значит, уходишь? — спросил Васька негромко, словно все еще не мог поверить в мое решение.

Я промолчал, думая о своем.

— Тогда я тебе расскажу... — прибавил Васька. — Хотел потом сказать, но раз уходишь...

Птицы распевали все громче, все отчаянней, будто пробовали, кто кого перекричит, перечиркает, пересвистит.

— Понимаешь, — сказал Васька, — сегодня Семен Андреевич заехать должен. Обещал тогда.

— Ну? — спросил я, не понимая.

— Ну вот, — Васька опустил голову, — мамка ведь в район к нему ездила, все про отца спрашивала. А потом мне вдруг говорит... — Васька вздохнул, подопнул шишку, лежавшую на дороге. — А потом говорит: «Как считаешь, Василий, если я его к нам привезу? Если я замуж выйду?»

Я остановился. Я глядел во все глаза на Ваську. Нет, он не шутил, таким не шутят — правду говорил Васька, по голосу даже понять можно: будто все время он что-то глотает, будто что-то говорить ему мешает.

Мы пошли дальше. Дорога спустилась в овражек, и я узнал его, сиреневое море иван-чая. Только теперь кузнечики не стрекотали. Сыро в рано было для кузнечиков.

— Ну? — подтолкнул я замолчавшего Ваську.

— Ну, я спросил тебя, что бы ты делать стал, если бы отца у тебя убили, а мать снова замуж пошла. — Васька пнул новую шишку. — Ты ответил, что сбег бы, ну, и я мамке так же сказал.

— Она тоже меня про это спрашивала, — сказал я Ваське и вдруг вспомнил все подробно, до мелочей: я жну, стоя на одном колене, а тетя Нюра из-за спины спрашивает меня тихим, мягким голосом.

«Дурак! — обругал я себя. — И Васька спрашивал, и тетя Нюра, а я и внимания не обратил, думал, мало ли что говорят, что спрашивают. А оказалось вон как».

— И убежишь? — спросил я Ваську.

Васька помолчал, потом вздохнул.

— Отца все одно не воротишь, а куда я побегу?.. — Он подумал и прибавил: — Вот и сказал я вчера мамке: «Семен Андреевич-то приедет, так пусть остается».

Васька говорил теперь уверенней, спокойней и шагал быстрее, тверже.

«Вот как все обернулось, — думал я, — будет теперь у Васьки отчим».

Васька вдруг остановился, встал мне поперек дороги.

— Только ты не думай, — сказал он, — что я все позабыл. Нет! Сто первый километр под Москвой я все равно найду! Понял? И коня на крышу поставлю.

Мы пошли дальше. Дорога вела вверх, и опять вниз, за спиной расстиралось поле иван-чая — таинственное, молчаливое, укрытое покрывалом тумана.

На другой стороне овражка громко и неожиданно зарычал мотор, и появилась маленькая машинка, дымящая трубами по обе стороны от кабины.

— Ну вот, — сказал Васька, — и газогенераторка с молоком.

Машина тормознула, скрипнув и содрогнувшись всем телом, и из кабинки высунулась женщина.

— Садись со мной, паренек! — крикнула она, и мне показалось, что вчера, у памятника, я слышал этот голос.

Я мотнул головой, перекинул ногу через борт, машина загрохотала, двинулась, и Васька остался на пригорке, подняв над головой руку.

Я стоял в кузове, держась за тяжелый холодный бидон, и глядел, как медленно уменьшается его фигурка.

Ветер трепал мои волосы.

Ветер дул мне в затылок.

А я смотрел на Ваську, смотрел, смотрел, смотрел...

Когда он скрылся, я прикрыл глаза и представил, как увижу отца, как брошусь к нему навстречу, как прижмусь к нему крепко и стисну зубы, чтобы не заплакать...